

Люся, стоп!



*Людмила
Турченко*

Людмила Марковна Гурченко
Люся, стоп!
Серия «Легенды кино и театра»

Люся, стоп! Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-85158-4

Аннотация

Биографию и характер актера можно проследить по его ролям. Как бы тонко он ни перевоплощался и ни прятался за текст. «Везде, во всех ролях, есть частица меня», – пишет Людмила Гурченко.

В этой книге вы прочтете о том, как проходили съемки актрисы в различных фильмах, о режиссерах и актерах, с которыми ей довелось работать, о судьбоносных встречах с уникальными творческими людьми и музыкальной карьере.

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	13
Глава четвертая	21
Глава пятая	26
Глава шестая	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Людмила Гурченко

Люся, стоп!

© Л. Гурченко, наследники, 2016

© ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Новая жизнь. Новые ценности. Новые цены. Новые слова.

Популизм, плюрализм, менеджмент, электорат, консенсус, имидж, менталитет, инаугурация, стагнация, презентация...

Тут как-то несколько лет тому и у меня состоялась презентация компакт-дисков. Я отвечала на разные вопросы попеременно с исполнением песен. Было много приятных слов.

А это очень-очень приятно, когда коллеги говорят приятное. Это бывает редко. И еще потому – ах, как приятно! Стою вся в «приятном» и чувствую, что вот-вот начну «млеть». А тут уже и завершающая часть презентации подоспела. Когда и выпили, и закусили. Когда не сиделось за своими столами. Когда все смешались и сгруппировались по интересам.

И вот, когда кончились приятные светские речи, подходит ко мне здорово поднабравшийся музыкальный редактор одного из центральных каналов ТВ с рюмкой в руке и, покачивая головой, говорит: «Я даввно ввам ххотел сазать... Ввас ведзь ниикто не любт... (Долгая пауза. У меня быстро сформировался желтый шарик желчи: Люся, стоп!) Кромь на-ро-да».

Спокойно. «Пролетело, не заметили». А теперь быстро улыбнись и пожми ему руку, как самому искреннему другу.

Так я и сделала. Молодец, Люся!

Дорогой мой народ! Дорогие зрители. Зрители-читатели. Я живу и работаю для вас. Когда я в кадре, я предощущаю, как вы улыбнетесь или заплачете, глядя на экран. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты – это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев, как наркотик, как водка, как адреналин!

Много небылиц, сплетен... Лучше я сама напишу. И все, что здесь прочтете, – это для вас. Только для вас.

Глава первая

Сделайте ему минуту счастья!

Это когда же мы с вами расстались? Когда начались съемки «Любовь и голуби»? Где-то сразу после «Рецепта ее молодости». Ну да, летом тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. Давненько. Ого, как давненько.

«О, сколько нам событий трудных...» с тех пор пришлось пережить и в душе, и в работе, и в жизни страны, и в жизни личной. Это же еще до великой перестройки? Сейчас 2001 год. И иногда как включишь ТВ – а «Любовь и голуби» тут как тут: «Фух ты, ёшкин кот!» – родной голос Васи (Саша Михайлова). Или: «Людк! А Людк! Смотри, это же она!» – особая интонация актрисы Нины Дорошиной. А наутро вывожу собаку, а за спиной: «Людк, а Людк!» – и смешок. Добрый смешок. Тот, что надо. Да я и сама всегда смеюсь. И не надо-едает.

Редкая картина. Народная комедия.

Режиссер Владимир Меньшов, пока не доведет партитуру фильма до абсолютной чистоты, где не фальшивит ни один инструмент, мучает нас, себя.

Порой в первый же съемочный день очень трудно встроиться в середину картины, в самый разгар отношений. Это не театр. И надо быть готовым в первом же кадре играть смерть-финал, еще не сыграв ни одного кадра начала или середины роли. Просто уходит натура. Или у дирекции фильма график съемок так составлен. Разные причины. Редко когда в картине все сцены снимались по порядку.

И вот первый кадр (это середина моей роли) – мы с Васей выходим из бара вдребезги пьяные и поем на весь пляж «Надежду». Раз дубль – не то. Два – еще больше не то. И все не то, не то, не то. Притихли мы с Михайловым. С ним еще едва знакомы. Живьем видим друг друга впервые.

Вокруг стоят любопытные отдыхающие. Они разочарованы – что тут такого трудного? Прикинуться пьяным, пошататься и спеть... Меньшов как ненормальный бегаёт по гальке, не чувствуя, что брюки по колено мокрые. А потом упал на гальку: «Это я, это я виноват! Ничего не могу придумать! Я, я, я ви-но-ват!»

Тут нужен абзац. Я снималась до этого много. Но чтобы режиссер вот так, открыто, кричал о своей беспомощности... Нет, не помню. Вот что-то из: «Ну-ка, артисты, еще раз», «Ну, еще как-нибудь», «Ну, вы же артисты!», «Артисты, и не можете сыграть элементарного!», «Милые, а за что ж вам деньги платят?», «Слушайте, чему же вас там учили?» – вот это артистам хорошо знакомо. Есть и другие режиссеры. Но к ним надо попасть. А такое нечасто.

Меньшов полежал-полежал на гальке, посмотрел-посмотрел в небо и как вскочит, как затанцует, как захохочет: «Нашел! Нашел! Понял! Есть! Сюда!» Рабочие быстренько взбили кучу гальки. И я, пьяненькая, по этой гальке, из положения «стоя» сразу в положение «лежа» – шлеп! И вместе с текстом съезжаю прямо в крупный план: «Какие звезды на небе...» Неожиданно и смешно. А главное, «лежа» – оно ведь ближе к «любви».

Рано утром сижу на гриме. Входит Меньшов с магнитофоном. Всю гостиничную гримерную – маленький номер гримерши – заливают жгучее танго. С самого утра запахло морем, знойным солнцем, хмельным баром и грешной любовью. На голове у меня рождается модная прическа первой леди райцентра.

– Та-ак, – говорит Меньшов, – он ее раздел! Положил на стол! И голыми руками... там ей что-то раздвинул... «Не больно?» – «Нет, очень хорошо».

У гримерши расческа замерла в руке. Вот оно что... Какая жизнь пошла в группе! Как интересно... Это же только начало картины... Что будет, что будет... О-о-о!!!

– Он вынул все внутренности – и в таз!

Боже мой, как она вздрогнула! Металлическая расческа со звоном упала на пол. А Меньшов, чувствуя такую реакцию, продолжил с еще большим подъемом. Этой сцены в сценарии не было. Он ее написал ночью. Потом, как только стало понятно, что это сцена для картины, лицо у женщины сразу стало будничным. Она подняла расческу и продолжила достраивать на моей голове халу. Глаза ее мгновенно потухли. Интерес пропал. Это я бы тоже с удовольствием сыграла.

Я очень люблю финал этой сцены, когда герой, ошарашенный новшествами филиппинской медицины, спрашивает у меня, то есть у Раисы Захаровны: «Ну и как эта баба? Жива?» – «Ого, еще как жива! Правда... не узнает никого».

Цитируют картину повсюду. 8 Марта в «России» я принимала участие в шоу у Валентина Юдашкина. Готовлюсь к своему номеру и слышу в толпе артистов: «А ты помнишь: «Людк, а Людк! Сучка ты крашенная».

Все дружно засмеялись. Ну, думаю, я не я, если сейчас не доиграю. Не поленилась, спустилась с подиума, который начинался за кулисами, подошла к веселой компании и доиграла: «Почему же крашенная, это мой натуральный цвет!» Ну, какая была бурная реакция! Нас даже к порядку призвали. Это были ребята из «Иксмиссии».

На съемке я тоже не могла удержаться от смеха. Нет, ну правда, – то, что сучка, ей не обидно, а вот что крашенная... Как это чисто по-женски.

Картина закончена. Роли озвучены. Артисты уже не нужны. Идет монтаж. А тут вышел закон о запрете алкоголя. Срочно стали вырубать виноградники от Грузии до Молдавии. Люди по домам взялись гнать самогон. Исчез сахар. Исчез одеколон. Из аптек пропали лекарства, в которых есть хоть капля спирта. Ну а в кино, естественно, пошла «вырубка» сцен, где хоть малейший намек на «вздрогнем». А у нас, в «Голубях», ого сколько таких «вздрогнем»!

Я увидела на студии Меньшова с лицом черного цвета, с затравленными глазами. Он всем доказывал, что это комедия, что это несерьезно, что нет там никакой агитации в пользу алкоголя... «Вырезать! Ну не могу, не могу я вырезать! Режьте меня! Меня режьте!»

Не дай бог быть режиссером! Если только этим заниматься, если только этим жить, надо иметь колоссальное здоровье и металлические нервы. А терпение? Терпение!!! Талант же, вкус, слух, музыкальность – это атрибутика. Это аксиома. Это как само собой.

Меньшов человек сложный. Зажжется и погаснет. И сразу пустой и неинтересный. Вдруг позвонит ночью, возбужденный, говорит, что только что показывал американцам наши сцены с Михайловым, – а сам хохочет, доволен, говорит мне, что я роль «вышиваю». Это приятно слышать. А через неделю может пройти мимо и не поздороваться. По-человечески он мне не близок.

Съемки «Голубей» были уже в разгаре, а на мою роль еще никого не утвердили. И вдруг (все то же кинематографическое «а вдруг») я получаю телеграмму из Медвежьегорска. Режиссер Меньшов поздравляет меня со званием народной артистки СССР. И такие слова замечательные в мой адрес. Телеграмма большая. Денег не пожалели. Короче, предлагает мне, не читая сценария, приехать в Медвежьегорск. Там он мне все расскажет про роль подробнее и интереснее. Я только что закончила музыкальный фильм «Рецепт ее молодости».

Роль трехсотлетней актрисы в шляпках и перьях. А что? Нырну-ка я в другую атмосферу. Чем черт не шутит? «А вдруг?»

«Давай, дочурка, уперед, дуй свое. Риск – благородное дело».

Собрала манатки и поехала. Снимали сцену героини фильма с ее детьми. Меньшов чем-то был недоволен, хотя актеры играли легко и азартно. Мне понравилось. Может, я, свежий человек, еще не в атмосфере? Режиссеру сказали, что я уже приехала, что я на площадке. И я за спиной слышу голос: «Вы уже так много всего наиграли... Я даже не знаю, что вы еще можете». Та-ак. Приехали. Ни привет, ни здрасте. Люся, стоп! Вспомни, у тебя был опыт у Германа в «Двадцати днях без войны». Такое же печальное начало. Потому молчи и жди, что будет. Промолчала. Первый раунд выиграла. Приняла удар.

Что дальше? Значит... Никаких иллюзий. Забыть слова из телеграфного бланка. Знай о себе голую правду. Что у трезвого на уме, то у пьяного... Меньшов был навеселе. Вы удивитесь? Актер, пришедший на пробу и даже на первый съемочный день, – это всегда поединок. Доказывать, доказывать, быть все время под вопросительным знаком. Как бы режиссер ни хотел, ни решил, что будет снимать только тебя, – это всегда бой. Пока не увидит первые сцены на экране.

Досадно. Зачем приехала? Что за дурацкий кинематографический азарт? Это идиотское «а вдруг». Спокойно. А сколько раз влетала в кадр без подготовки, в своем собственном костюме. Да с самой той первой веселой картины так. Это уже потом, у очень тонких и умных, работала на полном доверии, без проб. Черт бы их побрал, эти пробы! Иногда смотрю на себя – ну нет, нигде нет ни одного живого места, чтобы пробу поставить... Вся в пробах. Терпим. В таких случаях важен результат.

А через две недели съемки пошли весело и легко. Меньшов опять был увлечен. Много сочинял, сам смешно показывал, хохотал. И ему почти нравилось то, что я делала в кадре.

Еду в поезде на гастроли. Утром весь вагон выстраивается в туалет. Ну и я тоже. Что я – не человек? Народу много. Подожду. Но уже ясно, что весь вагон в курсе, что я здесь. А мой противный глаз сразу замечает человека, который тут же напрягся, подобрал живот и широко улыбнулся. Он-то уж точно меня не отпустит без... – еще не знаю чего – автографа или, не дай бог, фотографии дуэтом на фоне туалета. Ну, пора вылезать из купе на свет божий. «Мой человек» стоит, ждет. Деваться некуда. Иду.

– Товарищ Гурченко, я вас жду.

– Я вижу.

– Значит, так. Докладываю. Я капитан дальнего плавания. У меня есть один грех. Могу запить. Когда по полгода в море... сами понимаете. Но команда меня уважает. Они ждут сколько надо, а потом ставят мне «Любовь и голуби» – помните, где вы с Васей на юге? – И тихо зашептал: – Каюсь, у меня тоже такое было! Ужас! – И опять громко: – Товарищ Гурченко, Людочка, дорогая! Все, что хотите, – шампанское, коньяк, цветы, шоколад! Умоляю – как вы там говорите? Людк, а Людк... Скажите!

– Так вы наизусть уже все знаете.

– Ну что вы, Людочка, то кино, а тут – вы! Живая! Бог ты мой, вот же удача! Всё! Все, что хотите! Ну что вам стоит? Ну, Людочка! Сделайте моряку-командиру, который годами не видит родных берегов, сделайте ему минуту счастья! Он этой минуты никогда не забудет!

Вот она, моя любимая профессия. Восемь утра. Лицо утреннее, несчастное. И вот сейчас я должна забыть, что я просто слабый человек, что я тоже хочу в туалет. Будь любезна в одночасье, в одноминутье сумей себя встряхнуть, «реинкарнировать» и сыграть ярко и весело, громко и артистично. Та-ак... копясь слезы обиды на судьбу, на серость за окном. А желтый шарик желчи подпрыгнет к горлу и откатится, подпрыгнет и откатится. Слава богу, не взорвался. Не надо. Уйдут силы, энергия. Они нужны для вечернего концерта. Краем глаза замечаю, как из всех купе за нами следят пассажиры. И в восемь утра, около туалета, я в полный голос и в удовольствие кричу: «Девочки! Уберите свою мать! Ах ты, зараза... Людк! А Людк! Де-ре-вня!!!» Аплодисменты. Повлажневшие и удовлетворенные глаза капитана.

Молодец, Людмила. Победила себя. Всегда бы так. А то приходят за кулисы мои давние поклонники со взрослыми детьми и внуками. И, прикрывая ротик с зубками через один: «Ой, мы вас так любим, мы были еще подростками, когда вышла ваша картина про пять минут. Помните, вы там с белой муфточкой?»

Мне ли забыть ту белую муфточку? Как же врезался всем в память тот мой жизнерадостный облик. А рядом со мной стоит молодой муж. И я – хоть умри, но должна быть веселой, молодой и с тонкой талией.

Когда-то одна пятидесятилетняя актриса говорила нам, молодым, только начинающим (мы жили с ней в одном гостиничном номере): «Ох, девочки, я с вами целый день хохочу, бегаю на каблуках, а ночью, вы уж извините меня, ночью я храплю, пукаю...» Ночью я, говорят, не храплю, но, наверное...

Почему я не увильнула в то утро, не придумала причину, бросив пару резких слов тому капитану с его предложением в восемь утра? Я об этом думала. Видимо, он на меня смотрел, не замечая, что я «утренняя», в халатике, с полотенцем и зубной щеткой в руках. С виду я была как все пассажиры. А он смотрел на меня как на царицу. Он чувствовал, был уверен, что сию минуту он увидит именно то, что хотел, о чем очень-очень искренне просил. Он желал этой минуты счастья. И он ее получил.

Это самые интересные зрители. Они видят во мне не платье, грим, прическу, шляпку. Они не оценивают меня – сколько я «стою». Интересно, впервые я о такой «стоимости» услышала в Нью-Йорке. Мои московские знакомые говорили между собой, глядя на свою знакомую из Одессы: «Она тянет на семьсот». – «Ошибаешься, здесь все девятьсот». – «Подумаешь, на двести ошиблась». Мне не хотелось бы, чтобы я «тянула» внешними атрибутами. Пусть «тянет» то, что я умею делать.

А про капитана это еще не конец. Вечером в концерте чувствую какую-то особую, небудничную атмосферу в зале. Ну, это как в советские времена, когда идет заседание, но все знают, что скоро вынесут знамена, заиграет горн, потом марш... И что? В первом ряду я вижу капитана в парадном, со множеством медалей и значков. Рядом с ним очень хорошенькая пухленькая женщина, видно, жена. И сразу вспоминаю его шепот насчет греха на юге. Вот интересно, на кого же он ее тогда променял? Такая прелестная молодая женщина... Ах вы, мужчины-чертяки! Кто вас поймет? И что вам надо?

Рассказываю в концерте об утреннем эпизоде в поезде. Играю все в лицах. Зал очень хорошо реагирует. Представляю залу капитана. И началось! Капитан торжественно встал, поклонился залу, хлопнул в ладоши, и из двух противоположных выходов стройным шагом пошли матросы с ящиками коньяка, шампанского, цветами и коробками конфет.

Зал ахнул. Стою среди этого добра, кланяюсь, благодарю. А еще только треть концерта... А как перевести на серьез? А как двигаться среди ящиков? Нет, никаких пауз. Пусть все будет так. Перепрыгивала через ящики под аплодисменты веселых зрителей. Успех был, чего уж... Но героем вечера стал капитан. У него тоже брали автографы. Вот тебе и «Людк!».

Глава вторая

Урок

1983 год. Последний год, когда казалось, что вот, наконец, наступило небывалое, душевное «перемирие», долгожданное прекрасное затишье. Как долго я его ждала. Достигнут желанный успех и покой. И весь мой подуставший организм и душевное равновесие сигналили: мгновение, остановись! Это твой личный рекорд. Не о нем ли ты втайне мечтала, хотя и говорила: нет у меня «мечт», ни о чем не мечтаю? Лукавишь. Разве не приятно, что зрители цитируют «Голуби»? А! Приятно. А «Вокзал» как отшумел! И шумит. И как по душе пришелся людям. Конечно, очень, очень приятно.

«Людочка! Пишу вам из мест не столь отдаленных. Я бугор. Меня все боятся и, конечно, уважают, уж вы поверьте, есть за что. Недавно зашел в библиотеку, взял журнальчик, где вы на обложке в красном. На шейке у вас фуфло, а вот в ушках вещица стоящая, верьте, я в этом разбираюсь. За это и получил свое. Короче, я в этом профи. Ну что ж, думаю, сидеть мне осталось девять месяцев. Решил, как выйду, первую, кого очищу, это Вас. А тут завезли к нам ваш фильм «Вокзал для двоих». Смотрел я его два сеанса подряд, ночью не спал. Все разглядывал ваш портретик, вспоминал картину и думал о Вас. Кровью, кровью и потом зарабатываете себе на жизнь, честно, как говорится, живете. И вот что я решил – живите спокойно. И всем своим наказал, чтобы порог вашего дома не переступали.

Уважающий вас и ваш труд Леонид».

Ну! Что вы скажете? Разве это не признание народа, пусть даже не совсемординарное? Приятно? Конечно. Ну так живи и радуйся. А часовой механизм, скрытый в мозгу, подает сигнал, чуть слышный толчок в сердце: «Ой, слишком все хорошо. Ой, что-то не так. Так хорошо, как просто быть не может. Люся, прислушайся!» Наверное, где-то тут прячутся сложности моего устройства. Еще нигде нет видимых туч, ничего такого материального, что можно было бы потрогать, а изнутри уже тихонько пролезают знакомые колючки.

Вдруг по ночам просыпалась в предощущении мрачных прогнозов. Эти мраки прежде отступали, если не могли затуманить вдруг взорвавшуюся атмосферу света и радости. Не важно от чего – от влюбленности или от встречи с интересной ролью. А тут – не пойму. Тык-мык – и не справляюсь. Люся, все хорошо. Все на местах. Успокойся. Нет! Да что же это такое?

Вот так сижу в царстве сомнений и думаю, перемалываю, где что не так сделала, не так сказала. Многое припоминаю, многим недовольна, многое передислоцирую.

Успех? Ну и что? Он еще жестче подчеркивает твое одиночество. Пройдет совсем немного времени, уйдут милые слова, охи и ахи, и получишь: «Перестаньте, она кончилась. Ничего нового не увидим». Нормально. Успеха не прощают. Надо умирать вовремя. Это уже проверено. А что самое поразительное – порой успеха не прощают самые близкие и родные. «Ах, если бы не я, она бы ничего не добилась», «Ну, мой вклад здесь тоже есть». Если это семья, то можно ли так разбирать все? Теперь я думаю, что все меня больше любили и жалели, когда я столько лет не снималась. Приятно, оказывается, жалеть и даже высоко оценивать человека, над которым долго висят темные тучи. У него нет успеха. Он безвреден. Он как все.

Недавно мне позвонила моя харьковская подруга Любочка Рабинович. «Ты знаешь, что нужно, чтобы жить спокойно?» – «Нет, Любочка, не знаю». – «Три «Б». – «Ого! Ну, одно «Б» я понимаю. А что такое три?» – «Надо быть Бедной, Больной и Бездарной».

Так вот сидишь во мраке, и наступает полная расцентровка, когда под ногами исчезают старые, протоптанные дорожки. А новые не появляются. О, как становится неуютно, как страшно впасть в панику, стать жертвой собственного психического срыва! И он стал ко мне подкрадываться. Со стороны он непонятен, неуловим. Все происходит глубоко внутри души. Вдруг все замирает. Ничего нет. Ни стука сердца, ни дыхания, ни бульканья в животе. А потом шук-шук, шук-шук... Кто это? Да это я, твоя душа. Она подает свои тревожные сигналы. И объяснить никому нельзя. И слов таких нет.

Это предчувствие чего-то мрачного, ощущение внутреннего раздрызга пришлось на фильм «Аплодисменты, аплодисменты». Сценарий назывался «Актриса прошлых лет». Автор – Виктор Мережко. До этого я снималась по его сценариям в небольших ролях в фильмах Виктора Трегубовича «Уходя – уходи» и Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву». Мережко как-то сказал, что напишет для меня сценарий. И свое обещание выполнил. Героиня фильма – актриса. Эта актриса пробует доказать режиссеру, что только она должна сыграть главную роль. Она много знает о женщине, которую хочет сыграть. Она ее чувствует. Это ее роль. В сценарии Мережко много интересных эпизодов, но о самой же женщине (что она? кто она?), о ее биографии и почему моя героиня знает и чувствует ее, ничего не было. И непонятно, в чем же преимущество моей героини перед другими претендентками на главную роль.

Режиссер Виктор Бутурлин приходил, рассказывал, как он видит картину, как будет снимать. Я кивала. Из всех сил встраивала себя в сценарий. Режиссер уходил. Потом звонил: «Ну, работаем?» – «Нет, не сходится. У меня ничего не склеивается. – Боже мой, какие слова: «не склеивается», что за глупость. Ведь сценарий написан специально для меня. Уже ответственность. – Понимаете, я тут не нужна. Эту роль прекрасно сыграет любая хорошая драматическая актриса».

Еще и еще раз встречались. И расходились ни с чем. Потом стало тихо.

«Што Бог ни делайт, дочурка, усе к лучиму».

Мне встречались режиссеры, которые ярко и завораживающе могли рассказать будущий фильм. Да так, что сразу видишь его, влюбляешься в предстоящую работу и летишь на крыльях. Как-то, еще «на заре туманной юности», я снималась в одном из фильмов для ТВ. О, как режиссер фантазировал! «Тут он (герой) летит по старинной аллее с колоннами, увитыми плющом, а за ним погоня! Монахи с огромными породистыми собаками! Он еще быстрее, они нагонят его вот-вот. Он оглянулся – и бабах о колонну лбом! Колонна – вдребезги! Мы уже заказали такую. Да! От такого удара земля провалилась, и его нет! Нет. Только что был, и нет. А? Провалился! Исчез! Совершенно! А монахи с собаками шуст-шуст, шуст-шуст...» И сам режиссер хохочет, и я хохочу! Во попала в какую веселую картину. Мне двадцать два, сил много, хохотать хочется. Счастье, и все тут. Нет, ну ей-богу – лбом разбить каменную старинную колонну. Ничего себе!

Смотрю готовую картину. Ни колонны. Ни плюща. Ни аллеи. Ни породистых собак. Нет ничего. Не получилось. Многого на экране не получилось.

Иногда слушаю красочные рассказы, а сама просеиваю через свой горький опыт: это случится, а это чистый вымысел, несбыточные видения и фантазии. Остается то, что возможно, что реально. Компьютерная графика и новая техника в наше кино только стучатся.

И опять звонок в дверь. «Мы разговаривали с актрисой, которую вы предложили, но эта роль только ваша. Только вы, только вы. Будем менять, переписывать». Будем, будем, будем...

Встречались у Мережко. Обсуждали, рисовали, фантазировали. А не зазналась ли я? Вот сценарий для меня. Молодой режиссер. У него первая картина. Говорят, что у него талант, прекрасная дипломная работа. А я капризная «совковая» звезда. И я сдалась. Сдалась

в полном, полнейшем сознании того, что делаю большую ошибку. И к сожалению, так и случилось. Работа оказалась мучительнейшей.

Иногда актера важно заполучить, а там мы его...

Мой учитель, Сергей Герасимов, говорил: «Актер это соавтор. Режиссер и актер это диалог, это наивысшая степень взаимопонимания. И тогда вы все это увидите на экране. Обязательно». Я смотрела на Сергея Аполлинарьевича с восторженным недоумением. Я жутко боялась режиссеров. Еще бы! Идешь по «Мосфильму», а навстречу Пырьев, Райзман, Александров, Ромм... Режиссер. Это бог! Маг! Кудесник! Какой там «диалог»! Страшно подумывать...

Но вот, пройдя большой путь, сыграв столько ролей, я могу сказать – да, я несколько раз ощущала себя соавтором, и были прекрасные диалоги и взаимопонимание. И действительно все это видно на экране. Но жизнь летит. Надо работать. Надо быть в боевой форме. Надо получать зарплату. Естественно, неизбежны и другие встречи. И их, к сожалению, большинство. Ну, как это частенько бывает? Говорит режиссер что-то понятное только ему одному. Актеры бывалые, профи. Договариваются между собой. Главное, выяснить у оператора траекторию мизансцены и свет. Мотор – и поехали. Всякое бывало.

Ладно. Обещали: будем, будем, будем? Что ж: давайте, давайте, давайте. На экране появились сцены, которых не было в сценарии. На ходу, в импровизациях рождалась биография роли, которой так добивалась моя героиня. Пришлось вспомнить мою молодую маму и заговорить ее языком и оживить такие узнаваемые детали военной и послевоенной жизни. Страстные монологи режиссера в блестящем исполнении Олега Табакова. Он прямо в кадре вынимал из памяти такое свое личное, что никогда подобного не сочинишь. Виктор Бутурлин был в сложном положении. Он метался между Мережко и тем, что было на экране. Мы начинали съемку с того, что больше ничего не будем придумывать. Хорошо. Не будем. После съемки режиссер считал, что придумывать надо еще многое. Мережко как-то сказал: «Да, не всегда получается хороший сценарий. Да, этот сценарий неудачный». Жаль, что так поздно сказал. Не было бы столько потерь сил, нервов, полугода жизни.

Я вылезла из собственной шкуры. Не спала ночей, проклинала себя за слабость. Понимала, что проваливаюсь, что где-то сковырнусь, а может быть, даже заболею. Выходных у меня не было. Или репетиции танцевальные. Или поиски композитора, а потом репетиции с ним. Или поиски текстов. Горы стихов перевернула, пока не нашла стихи Расула Гамзатова «Пять минут тому назад». И т. д. и т. п.

А к концу съемок Мережко на худсовете «Ленфильма» отказывался от своей фамилии в титрах. Со мной половина студии разговаривала через губу. А до этого ко мне относились тепло и уважительно.

«Актриса прошлых лет». Каких лет? Прошлых. Но каких? Тридцатых, сороковых? Или прошлого века? Об этом спрашивали артисты массовки. В группе объявили конкурс – кто придумает название картины? Я безвольно уступила просьбе Бутурлина назвать картину «Аплодисменты, аплодисменты». В то время я как раз дописывала книгу под этим названием. Мне было все равно. Лишь бы вылезти из картины живой. Лишь бы вылезти!..

К концу съемок я иногда плелась в гостиницу пешком. Можно долго идти по Кировскому мосту. Внизу Нева. Тихо-тихо. Я одна. Только редкие такси. Стою на мосту и долго-долго смотрю на суровую воду. И никаких желаний или каких-нибудь виртуозных придумок! Придумки, отпустите меня! Всю жизнь я у вас в рабстве. Больше не хочу! Хочу спать, спать, спать. А спать не могу. Все проверяю, все переигрываю, все перемалываю. То так, то сак. Уже и светает, а его, желанного сна, все нет и нет.

Меня стала преследовать мысль о том, что я уже никогда не засну. Снотворное действует первые полтора часа, но сквозь сладкую дрему я слышу голоса, вижу груды костюмов, бутерброды с чаем в термосе и сценарий, черканный-перечерканный. Бежать, бежать, бежать

из картины. Быстренько, тяп-ляп – и привет! Да? Ха-ха! И я, как безнадежный параноик, еще глубже и глубже влезала в роль. А может быть, нужно было довести до конца свое видение? Не знаю. Ничего не знаю. Знаю теперь, что худшее в жизни – потеря здоровья. Остальное не имеет значения. Я всегда сильна задним умом. Он у меня в порядке.

И, конечно, я загремела в больницу. Внутри что-то здорово разладилось. Поем – больно. Не ем – легче. Значит, не язва. Слава богу. Поразительно, что фактор здоровья резко дал о себе знать именно к концу картины, к озвучанию. Я все выжидала, что слабость и боли пройдут, но они только усиливались. «Ну, наконец-то!» – прошипела судьба и с наслаждением щелкнула меня по носу. «Дорогая, пошла вон!» Вызов брошен. И, съездившись от такой моей наглости, она, голубушка, попятилась. Я стала выздоравливать. То-то же.

Но с того 1984 года, с тех «Аплодисментов», я на всю оставшуюся жизнь поклялась себе всегда делать только свое актерское дело. Как точно определил Шура Ширвиндт – играть «свой отсек». А значит, что? Видишь промашки – отвернись, не заметь, молчи. И нервы сбережешь. И отношений не испортишь. И всем хорошо. И всем приятно.

В титрах все фамилии остались. Но когда Мережко по телевидению рассказывал о своем творчестве, «Аплодисменты» он не называл. Ну что ж, так мне и надо. Урок. Хороший урок.

Но вот же парадокс. За рубежом картина имела настоящий большой успех. Купили ее очень многие страны. Несколько фестивалей, тогда еще советских фильмов, открывались «Аплодисментами». Были непростые интересные пресс-конференции. Почему мы не знаем эту актрису? Почему-почему? Да потому, что мы жили в отдельно взятой стране. А у нас все свое. Отдельное. Не как у всех.

Режиссер жаловался, что я ему мешала работать. Он прав. Люся, молчи.

А что спасало? Дом! Я знала, что вот доберусь до номера, и тут же, еще с порога, телефон – звонок из дома. Дом! Домой! Как много сказано, спето и написано о родном доме. И все равно – у каждого свой дом. У меня свой. Он особый. С самого детства.

«Усе у кучичке, уся тройка, и дочурочка моя дорогенькая, и мама дочурки, и главный папусик, Марк Гаврилович Гурченко».

Разве я могу забыть эти слова, эту интонацию, эти сильные руки, эту улыбку, доброту и такую веру в свою дочурку? Ах, да что теперь...

Что такое семья, я знаю с детства. И никогда не меняла и не перестраивала своего сознания и понимания семьи.

Ушел папа. И чтобы я совсем не тронулась, Бог послал, в чем я была абсолютно уверена, милого и доброго человека. И с того памятного 1973 года он был всегда рядом, он понимал, умел выслушать и поддержать. А это главное. Без этой поддержки, тепла и внимания любой женщине, а актрисе тем паче, – эх как несладко! Сейчас поговорили. Завтра Костя придет. Вот и спускается на меня желанный сладкий сон. Ах, как хорошо!

Последние мои мысли о доме. Как я хочу домой, в семью. Но я еще не знаю, что мой сон и моя семья вскоре рассыплются в прах. А пока спи, Люся. Спи пока... Всему свое время.

«Береги нервы, дочурка. Типерь они тебе вокурат нужны позарез».

Наступил 1985 год. Год тотальных изменений и перемен.

Глава третья «Золотой орел»

Перестройка! Перестройка! Перестройка! Ура! А что это такое? А бог его знает. Главное, что все будет по-новому. Все? Все! Вот здорово! Вот интересно! Вот жизнь! Она будет как во всех цивилизованных странах. Смотрите, наш вождь говорит без бумажки. Говорит четко и быстро. И так говорить может и час, и два. Да сколько надо. Не чудо ли? «Начни с себя» – вот лозунг. И все стали перестраиваться.

Все мне в этой новой жизни импонировало. Моя душа наполнилась новыми чувствами, мыслями, образами. Меня охватил необыкновенный порыв жизни. Жизни, которая бурлила и клокотала, несмотря ни на какие злосчастные миги и моменты. Несмотря на подкрадывающийся возраст. Жизни, похожей на лихорадку. Жизни переменчивой и изменчивой, как поведение капризной строптивой красавицы. Я дожила, дожила! Дыши, смотри, ходи, ничего не пропускай.

Вон, смотри, Борис Ельцин идет по коридору обувной фабрики. Его сопровождает счастливая директор. Вот он берет детскую кроссовку, мнет ее своими ручищами: «Ну, и это, вы говорите, лучше, чем «Adidas»?» Бросил тапку и пошел, оставив директоршу, годами привыкшую верить, что «советское – значит, лучшее», в полнейшем недоумении. Ой, что делать, как жить, – говорило ее лицо. Фантастическая метаморфоза за одну минуту. «Да, товарищи, эта перестройка посложнее, а может быть, и пострашнее, чем революция семнадцатого». Какой красивый, роскошный человек. Богатырь. Царь. Но куда руку поднял? Ого, размах! Революцию побоку? Э, голубчик, сидеть тебе в Бутырке, не сегодня, так завтра. Прошло завтра. Прошло послезавтра. Неужели же правда у нас демократия и свобода?

А на Ленинском, а на проспекте Мира стоят фуры с овощами и фруктами. Все свежайшее, прямо из Грузии, Украины, Армении, Азербайджана. Кончились очереди. Все стоит совсем недорого. Слава богу. О Нем, о Боге, тоже вспомнили. Только еще вчера одному очень талантливому режиссеру предлагали вступить в партию – это весомо, солидно. За рубеж – пожалуйста. И любую картину легко можно будет запустить. «Что вы, я не могу. Я же верующий». – «Да вы что? Какой ужас! Пожалуйста, никому не говорите о нашем разговоре».

А теперь вчера партийный стоит со свечкой в церкви. И лицо просветлевшее, обновленное, как будто никогда и не было партии, единой и нерушимой. Кооперативы, приватизация, налоги, забастовки, многопартийность, курс доллара – все как у людей. А выборы? Выбирай, кого хош, фамилий много. Задавай любой вопрос, да ради бога. Давайте, давайте вопросы, вопросы.

Как будто пружина прошлого грандиозного организма, заведенная до определенного предела тиканья, вдруг растикалась, разболталась и выдохлась. А пятый съезд, первый перестроечный съезд, работников кино? Какие речи! Какие смелые, рискованные мысли! Все это существовало, копилось и только ждало революционного момента. Впервые всюду зазвучало местоимение «я». «Я говорю», «Я уверен», «Я утверждаю». От непривычки аж в висках стучало. Уничтожали, предавали анафеме вчерашние таланты. А я сижу и слышу голос Сергея Мартинсона из фильма «Антон Иванович сердится». Там он играет роль композитора-новатора. «Что? Бах? К черту! Моцарта и Бетховена туда же, туда же. На помойку, на помойку». Многих отправили на помойку. Никита Михалков был как «один в поле воин». Сумел защитить известные имена. А главное, сумел быть верным. В той жаркой обстановке это был подвиг.

Что ж? Буду жить по-новому, по-другому, не отрываясь и не предавая лучшее во вчерашнем. Где-то в этом направлении бродила моя позиция.

Иногда я всю свою жизнь в профессии перелопачиваю и ясно вижу, что я появилась в ней, когда обязательной была только положительная система ориентиров. Какие бы ни были ураганы, сквозь них должны прорываться светлое и оптимистичное. Потому сквозь все эти коловращения буду играть, как кричит внутри, но прорываться к свету. Обязательно. Но... Опять «но». Такие зигзаги жизни. Одно намечаешь, другое диктует обстановка. Вроде я такими тяжкими путями пришла к достойному месту в профессии. И – враз! – во вчерашнем дне. Во «вчерашних». Отодвинута в сторону. Отодвинулась легко, без борьбы, без протеста. Зачем? Кто тебя услышит, когда вокруг все бурлит и пенится? Ну что ж, отправлюсь на полочку. На новую, перестроечную полочку. Как-то оно там?

В дни кинематографического съезда шел по ТВ фильм «Претендент». В нем я снялась в небольшой роли. Я кожей чувствовала кривую усмешку: «Эх вы, претенденты вчерашнего дня. У нас такое будет! Мир перевернем!» Да я и сама этого хотела. Ждала и жаждала. А может, мы все перелопатим по-своему? Чем-то своим, доселе задушенным. Заставим мир смотреть и слушать нас! Я в это верила.

А тут и рядом, в доме, появились перестроечные встряски. Начались прикидки. Куда бы податься? А что бы такое придумать? Поначалу я не придавала этому особого значения, только улыбалась. Отцу Кости всегда хотелось что-то свое открыть, иметь свое дело. Костя тоже и сценарий писал, и домашними съемками увлекался. Чего-то еще и еще хотел. Слово «фарц» я надолго изжила из употребления. Мы жили в добре и в согласии, без конфликтов. Все завидовали, считали нас примерной парой. Один остроумный артист «возмущался»: «Слушайте, как ни увижу, они все время вместе. Нет, ребята, так не бывает. Ей-богу, здесь есть какая-то загадка». Интересная реплика. Я тогда не придавала этому значения.

Все заметались, разметались. Наш барабанщик уехал в Израиль. Гитарист – в Англию. Друг Кости – в Америку. Врачи шли в фирмы. Музыканты – в продавцы. Все что-то продают, вывозят, привозят. Офисы, обилие ларьков. Старушки на Тверской выстроились в ряд и вынесли все, что было дома, – наволочки, тапочки, вязаные шапочки, лифчики, лампочки.

А у меня – никакого выбора. В эмиграцию? Даже мысль не залетала. Ничего не умею. Не умею продать. Умею только купить. В бизнесе ничего не понимаю. Руководить не умею. Нет у меня ни хладнокровия, ни умения вычислять ходы наперед. И ничем, ну абсолютно ничем, кроме актерства и всего, что ему сопутствует, не интересуюсь.

Когда в перерыве между фильмами были концерты и я впервые вышла из самолета где-то далеко-далеко от Москвы, а потом долго ехала по заснеженным просторам, покрытым угольной пылью, я так явно, всем своим существом, ощутила: кончился бурный, поисковый период моей жизни. Взрывов больше не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. Это уж точно. От серого, однообразного пейзажа повеяло временами долгой безработицы, бесконечными переездами и перелетами, выступлениями в шахтах и на заводах, в столовых и тюрьмах. Да вообще где придется.

Добрый вечер! И стоп. Для господ еще не созрела. А «товарищи»... В зале смешок. Потому просто – «Добрый вечер!».

Я снималась в первых фильмах, в которые вкладывали деньги люди, далекие от кино. А кто их будет смотреть? В каких регионах они будут куплены? Четких ответов на все эти вопросы еще не было.

В неразберихе, суете, непонимании – что же происходит и куда все идет? – я ухитрилась сыграть и спеть много мелких и глупых ролей и песен. В то же время обязанность зарабатывать толкала на это. А что делать? Ведь перестройка оставила всех нас, «кинозвезд», – всех, без исключения, – нищими людьми. Каждый выкручивался и не сдавался по-своему. А тут за концерты стали платить вполне приличные деньги. Что же так поздно? Поднаторев и объездив с концертами Брянск, Орел, Курск и области, я осуществила свое давнее желание – купила себе норковую шубу. Поздно, но осуществила. Ведь их вообще нигде

не было. Это теперь каждая третья девушка в Москве в норке. Казалось бы, приличный гонорар помимо житейских радостей дает возможность спокойно работать, не размениваться на мелочи, возможность выбирать. Нет. Я разменивалась и разменивалась. И не могла остановиться. А вдруг завтра будет опять как вчера?

Боялась. Страшно было что-то пропустить, отстать, быть опять ненужной. Как хорошо, думала, поэтам, художникам! Они могут уединиться, творить для себя, находя отголоски в душах истинных своих поклонников. А тут как творить? В уединении? Кино – коллектив. Театр – постоянный коллектив. Каждый день бездействия – паника! А возраст? А лицо? Ведь лицо – моя зарплата. А что делать с паспортными данными? А что делать с ролями, которые неумолимо уходят и уходят?

Паника, паника, суета, раздрызг. Где взять силы, чтобы улыбаться, когда внутри одни грустные вопросы? На что равняться? Что есть, чего не знаю и не понимаю? Ого, как здорово, как смело: «ЧП», «Маленькая Вера». Жестокий реализм. Но это же новое о вчерашнем. А дальше? Как смотреть на нашу жизнь?

Да, так жить нельзя. Боже мой, ну скажите, как жить? Как неудобно, как стыдно, что так живем. И перед собой стыдно. И перед другими народами и государствами.

Я была в Берлине на фестивале. На этом фестивале просматривали картины для того, чтобы их рекомендовать и даже поддерживать финансово для проката в других странах. Я и не знала о существовании таких фестивалей. Сидела в жюри и, в общем, быстро сообразила, что и к чему. Ко мне относились с вниманием и интересом. С некоторыми членами жюри я была знакома по другим фестивалям. А на одном из банкетов выпили за мою премию на Всемирном кинофестивале в Маниле. Я ее получила за роль в «Любимой женщине механика Гаврилова». На то время я давно не слышала о себе ничего доброго. И это было понятно. А ведь дома, на Родине, с премией меня никто не поздравил. Но это было давно. Теперь же другое время. Теперь, если заработаю, наверное, поздравят. Наверное...

От нашей страны, от СССР, показали фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Наутро будет голосование, разговоры, дебаты, смех и шутки. О, как изменилось все наутро. С первым шагом в зал меня аж озноб охватил. Я почувствовала такую настороженность – она просто дыбом стояла в воздухе. Как будто в это светлое помещение с золочеными креслами вошел человек вдребезги больной и сейчас всех перезаразит. Каких же внутренних драк мне стоило не побледнеть, не увидеть, не заметить, не потерять вчерашней естественности!

Меня рассматривали в увеличительное стекло. Да, я сейчас единственный живой представитель той жизни, которой жить нельзя. Что ты притворяешься нормальной? Ведь вы все больные, алкоголики, насквозь прогнили. И от вас идет зловоние. А мои любимые духи еще больше в этом контрасте были приторны и удушливы.

Об этом я никому не рассказывала, но то была моя большая личная победа. Даже не через несколько дней, а уже на следующий все вошло в норму. Через самоиронию, шутку, анекдот, через разговоры о нашем новом времени, о демократии, о естественных взрывах на ее первых порах. Кто-то даже сказал, что это смело – так себя вывернуть наизнанку. Это было сказано для меня, чтобы загладить те первые ледяные часы. Но я поняла, что это наши проблемы. Проблемы для внутреннего пользования. Они все там так далеко улетели в своей сытой жизни. Им наша вопиющая и внезапно открывшаяся всеобщая нищета отвратительна. Такая сильная страна оказалась трухой. Ужас!

Что сказать? Что советский мужчина, получающий копейки за свой труд, превратился в ничто? Что пьяницей его сделали десятилетия такой копеечной жизни? Что даже в песне – «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить». Вот и все, на что он способен, пока молодой. А потом... С авоськой, в очереди за бутылкой. Вот советского мужчины и не стало.

Тогда я впервые в своей жизни испытала чувство нового и дикого «сиротства». У меня не оказалось за спиной опоры. Что бы ни случилось, как бы судьба меня ни кромсала, я всегда знала и чувствовала, что за моей спиной – моя могучая великая Родина. Она меня поддерживает. Нет, не хочу, чтобы было как прежде, но и так, как сейчас, не хочу. А как? Вечный вопрос.

Я приехала с того Берлинского фестиваля убитой. Перестройка. Какие надежды! О, какое будет обновление! А очнувшись, обнаруживаешь себя на краю, без опоры. А жить надо. Надо жить!

Вот так и жила. На ощупь. Этого я точно не буду. Это точно не мое. А это мое. Буду. И все равно ошибалась, чертыхалась и отчаивалась.

Лечу черт знает куда. Роль – ну полная... Хотелось написать слово поточнее. Да вы сами догадаетесь. Потому облегчу и напишу: роль – полная чушь. Но лечу. Начали снимать. Репетиций ни-ни. Разговоров о роли ни-ни. Историйки, анекдотики и сразу: «Мотор!»

Ни во что не вмешиваюсь. Как студентка первого курса.

Перерыв. Должна прилететь актриса. Слышу голос режиссера: «Готовьтесь, приедет актриса. Не суйте ей сразу тряпкой в хайло». Это юмор. Ясно. Приехали. Так мне и надо.

Еду в Минск. Там интересная роль. «Прости нас, мачеха Россия». Героиня, член комиссии по расследованию преступления, совершенного в годы войны, начинает соперничать преступнику, понимая, что тот обвинен несправедливо. За правду, которую ей на суде не дают сказать, она кончает свою жизнь самоубийством. Она бывшая летчица, хотя по ее кокетливому изящному костюму никогда не подумаешь. Блистательный художник по костюму Элла Семенова. Какая светлая чистая картина! А какой Будрайтис! Вот же загадочный артист. Столько мощи внутри, а внешне спокоен. Прекрасно мы работали с режиссером Юрием Елховым. Но что поделаешь, наши герои на тот момент были несовременны. Нужно только бьющее по нервам и по мозгам. О войне вообще перестали говорить. А она живет во мне. Я с ней выросла и возмужала. Ах, как та роль мне была близка! Очень родная роль.

Бывают сцены, к которым долго готовишься, боишься их. И сил хватает только на один дубль. У меня было несколько ролей с самоубийствами. Болею и до, и после. Короче, я уже «там» побывала не однажды. В этом фильме такому выстрелу предшествует огромная сцена, где героиня уже в кадре мертвеет – ясно, что так просто она не сможет жить дальше. Выстрел из дамского пистолета – и все! Жизнь кончилась. Та жизнь ей больше не нужна.

На съемки со мной всегда приезжал мягкий и добрый Костя. Закончилась сцена. Я еще лежу на полу. В голове туман. Полное безразличие ко всему вокруг. Руки и ноги ватные. А где же он? Я села, осмотрелась. И увидела совершенно незнакомое лицо. Отчужденное, глубоко погруженное во что-то, очень далекое от съемки, от меня. Я отрезвела. Что это? Да нет, показалось. Я проклятый Скорпион. Показалось, конечно.

Да нет, не показалось. Уже тогда шла параллельная жизнь, о которой я и не догадывалась. Мне администратор отеля сказала: «Ого, сколько у вас телефонных переговоров!» Да я вообще никому не звонила. Я с утра до вечера в павильоне.

А тогда, о, как далеко было до моего осознания двойной жизни рядом. Легче, чтобы мне все это показалось. Силы, силы нужны. Завтра лететь в Одессу. Картина «Ожог». Более близкая к сегодняшнему дню история. Мать вора. Конец фильма – она в тюрьме! Ну и роли. В одной самоубийство, в другой тюрьма. В новое время пустили в настоящую тюрьму.

Старая одесская женская тюрьма. Тюрьма-парилка. Меня выводят из камеры. А там еще четыре такие, как я. Только настоящие. И сразу по-другому играешь. Да какая там игра, забываешь о всяких играх. Жизнь. Она бурлит и здесь. Щели вместо форточек. И оттуда: «Маня, мы ждем! Адвоката еще не нашли! Петька Лешке врезал, все нормально!» А в камере: «Людочка, дайте автограф на память». Но надзирательница не разрешает. Сни-

мается только мой выход из камеры. Но и в эти секунды женщина успевает спросить: «Люда, а что сейчас носят?» С ума сойти!

А домой приедешь – что-то явно разладилось. Вообще я так долго не верила в то, что человек может быть вот таким идеальным и любящим. Но шли дни, недели, месяцы, годы, в конце концов. Пора, пора поверить. Трудно жить на полувере. И вдруг фраза: «Не всю же жизнь мне быть пианистом». То есть? А кем? Музыкант – это призвание. И папа, и мама преподаватели музыки. Интересно, им никогда не сиделось на месте. Всю жизнь переезжали из города в город. «Немногих добровольный крест». Львов, Петрозаводск, Алма-Ата, Ереван, Минск, Москва. Что-то везде не устраивало. Ехать в Ереван, потому что там фрукты? Везти такой воз вещей, и вообще, само слово «переезд». Никогда ничего не понимала. Кто-то мешал им, кому-то мешали они, кто-то завидовал. Хотелось нового и нового! Когда мы совсем расхотелись, вдруг фраза: «Это типичная наша семья». Поскольку мы расстались без особых объяснений, многие фразы пришлось расшифровывать, чтобы понять, почему, когда и, в общем-то, за что такая длинная подготовка у меня за спиной и тонкая актерская игра в лицо.

Сижу в аэропорту «Шереметьево-1», и перед глазами пролетают, как казалось, счастливые годы. И вдруг их закрывает глухая черная стена. Как внезапно! Как же я не была готова. Стоп, Люся. Когда я была здесь? Очень давно...

Аэропорт «Шереметьево-1». VIP-зал. И диванчики вроде такие же. Много переоборудовано. Но здесь со мной происходило что-то неординарное. Но что? Жду багаж. А пленка в мозгу летит, летит и нигде не останавливается. VIP-зал. А, да-да, отсюда и сюда мы улетали и прилетали от Госкино на зарубежные фестивали и недели советских фильмов. Тогда готовили «Шереметьево-2» к Олимпийским играм. Я сидела на спинке одного из этих диванчиков вместе с руководителем делегации и, как всегда, встречающим меня влюбленными глазами Костей.

Тогда тоже ждали багаж. Летели мы из Манилы, со Всемирного кинофестиваля. Летели в Москву, а прилетели в Ленинград. Наш самолет уже спускался над Москвой, уже все пристегнулись, аплодировали: «Здравствуй, Москва!» Костя сказал, что видел наш самолет, но он почему-то, сделав круг над аэродромом, быстро набрал высоту и скрылся. Оказалось, просто не успели вычистить посадочную полосу от снега. Это бывает только у нас. И никто не удивился и не возмутился. Как будто так и надо. Нормально, Григорий? Отлично, Константин.

После жаркой и пряной Манилы приземлились на оледенелом заснеженном аэродроме города-героя Ленинграда. Жители вечнозеленых стран выползали в майках и шортах, укрываясь клетчатыми одеялами из самолета. На их лицах застыл ужас. Все притихли. А в салоне самолета несколько минут назад так веселились.

От Манилы до Токио лететь шесть с половиной часов. Самолет местных авиалиний. Стюардессы одеты в экзотические костюмы, предлагают меню с такими яствами, всевозможными напитками, ах! Хочешь – тапочки, чтобы ноги отдыхали. А хочешь – массаж ног. Руководитель из Госкино спросил: «А что, если я возьму тапочки как сувенир?» А бог его знает. Такого сервиса в тот январский день 1981 года наш советский человек еще не встречал. Только через двадцать лет догнали и перегнали. Ура!

Да, пишу подробно для вас, уважаемые зрители. Это интересно. Так вот. От Токио до Москвы одиннадцать-двенадцать часов. Родной «Аэрофлот». «Приготовьтесь к завтраку, откройте столики». Голубой цыпленок с рисом, кусок маринованного огурца. Перец, соль, сахар в пакетиках. Да, еще в пакетиках кофе и чай. На выбор. Вот и хорошо. Вот и славно. И никаких вопросов. Скорей бы домой, в свою родную кровать. Так нет же, идем через ленинградский аэропорт, забитый людьми, с удушающим запахом буфета. А по ТВ поет ослепительная Любовь Орлова:

Нам ли стоять на месте?!
В своих дерзаниях
Всегда мы правы!

Ах, «Светлый путь»... Мое детство, мои мечты, моя любимая Родина. Непобедимая! Родная!

Вы не поверите, но меня стали сотрясать рыдания. Куда спрятаться? Тащу свой приз, неподъемного «Золотого орла» во фланелевом мешке с гербом Маркесов. Кто знал, что этого «Орла» придется так долго таскать. В делегации все злые, измотанные. Наши мужчины потеряли свою галантность – тащи сама. Тащу сама. А мешок все прорывается. И «Орел» показывает свой золотой клюв, напоминая о желтых берегах и зеленых пальмах. Все сразу сели в общий вагон. Зазнаться было невозможно. Р-раз! По башке – и ты в строю.

На фестивале в конкурсе было двадцать фильмов. Семь из них названы женскими именами. О призе нам не могло идти и речи. Но так интересно было побывать в далекой Маниле, о которой ничего не знали. Тамара Федоровна Макарова, мой педагог, сказала: «Люся, говорят, там так красиво и ярко одеваются. Ты возьми с собой все, что у тебя есть красивого из одежды». Спасибо, а то я бы имела бледный вид. Горстка богатейших людей острова устроила себе развлечение. Присмотревшись ко всем этим людям, самонадеянным в своем богатстве, я впервые в жизни увидела настоящую крепость миллионеров. На первый Всемирный фестиваль в Маниле пригласили звезд со всего мира. И все приехали. Все. Никто не отказался.

Ей-богу, такого богатства я не видела никогда. Как там говорит Фамусов? «Не то на серебре, на золоте едал». Бедный Фамусов! Видели бы вы эти залы с розовыми столами, резными стульями, розовой посудой и необычным вычурным столовым серебром. А какие наряды! Ручная работа, изумительная вышивка, с вправленными настоящими драгоценными камнями на шлейфах. Изумруды, жемчуг, сапфиры – и на шлейфе! Ну, безобразие!

Несчастное голодное детство. Так и бродила преступная мысль – вот бы наступить на шлейф.

А какая роскошная выставка платьев Имельды Маркес! В этом, золотом с изумрудами, она была в Лондоне. А в этом, зеленом с красными рубинами, – в Париже.

Что сказать? Сейчас 2001 год, нас этим уже не проймешь. И залы есть, и посуда, и одежда, и драгоценности.

Но это же были времена еще непобедимого СССР. Как сказала Имельда Маркес: «Мы вас уважаем и боимся. Вы такая огромная территория. А мы что? Мы – маленькие островочки». Ничего. До развала СССР еще десять лет. Мы тоже скоро станем маленькими островочками.

И если в первые дни я скромно украшала себя жемчугом и цветочком, то к концу фестиваля на мне было все: и розочки, и оборочки, и бантики, и цветочки, и сено, и солома. Ведь я была первой советской актрисой в этом краю. Меня пристально рассматривали, фотографировали, изучали.

Жаль, ничего они не знают о нашей великой стране. Живут себе своей жизнью. Что интересует? Поесть, одеться, машина, домик и деньги: «Dollars, dollars!» Вроде мелко и по-мещански, если с нашей духовной точки зрения. Ведь не хлебом единым сыт человек. А может быть, это психология или, как говорят теперь, менталитет русского или советского человека? Не знаю. Хорошо бы соединить и дух и dollars.

Думаю, что заплакала я в ленинградском аэропорту неспроста. Никому я не нужна была на моей великой Родине. Вот и тащила сама своего трехкилограммового «Орла».

А получила я его так. Чего-то мне сейчас себя жалко стало. Не знаю... Просто хочу еще раз сказать, что все это я пишу для вас, потому что, кроме вас, меня никто не любит. Этого я не забываю. Знаю, что повторяюсь, но вот... повторяюсь.

Назывались фильмы так: «Лола», «Соседка», «Жена французского лейтенанта», в которой снимались супермодная тогда Мерил Стрип и английский актер Джереми Айрон, известный нам после «Лолиты»... А «Лола» – новая немецкая волна знаменитого режиссера Фассбиндера. И был еще фильм с главной женской ролью «Ночное представление». И если по всем номинациям – лучший фильм, оператор, актер, режиссер и т. д. – члены жюри вынесли решение сразу, то насчет «лучшая актриса» мнения разделились. Три дня в газетах фестиваля описывались предположения и сплетни вокруг этой номинации. «Женщина французского лейтенанта» получила специальный приз. Значит, Мерил Стрип уже из претенденток отошла. В «Соседке» главную роль играла Роми Шнайдер. Ой, что будет, что будет...

А споры разгорелись вокруг испанской актрисы из «Ночного представления» и, извините, советской, то есть меня. О чем «Ночное представление»? Главное действующее лицо – кровать. Большая скрипучая кровать. Манильцы, у которых каталикоз катастрофический, это как у нас партком или товарищеский суд, очень похожи на нас. У них тоже нет секса. А у нас еще и социалистическая высоконравственная мораль... Совсем забыла термины. Неужели это было?

На испанском фильме в огромном зале яблоку негде было упасть. В течение двух серий муж и жена на кровати выясняют свои самые интимные отношения. Камера то сверху кровати, то снизу. Во всех ракурсах. Застает, настигает и удаляется от страсти, от вздохов, воя и криков, символизирующих полное удовлетворение. Удовлетворение? Черта с два! Никакого удовлетворения. И опять ох, ах, э-эх! И зал сидит в мертвой тишине, затаив дыхание. Потом, вместе с актерами, – фуух! Впечатляюще по тем временам. А в конце фильма оказывается, что героиня все это время притворялась. Оказывается, что он как мужчина полный нуль, что у нее нет больше сил его заводить. Что-то в этом духе. А какое у бедного артиста лицо! Да, не дай бог. А этот актер по жизни еще и муж этой актрисы. А она сама сценарист и продюсер фильма. Это здорово подогревало публику.

Где правда, где вымысел? Актера на фестивале нет. Она одна. Ага, значит, обижен. А может, даже разошлись. Но актриса очень интересная. После фильма зал горячо ее встретил.

А тут мы со своим «Механиком Гавриловым». У нас такая скромная картина, без скрипучей кровати. На пресс-конференции вопросы, на которые я не могла ответить. Нет, могла. Но никто на свете этого бы не понял. Никто. Почему у вас очередь за тазами? Что у вас, тазов нет? И почему их продают не в супермаркете, а прямо на улице? А что такое рыбный день? А если человек хочет мяса?

Что ответить?

Когда задают вопросы, на которые нет ответа, я думаю, как правильно я сделала, что отказалась от собрания трехкнижника: Вивьен Ли, Марлен Дитрих и моих «Аплодисментов». Зачем? Чтобы «там» недоумевали, что такое кинозвезда без московской прописки? А что такое «московская прописка»? Почему актриса снимает углы и комнаты? Что такое «угол»? Что такое комната, да еще в коммунальной квартире? А почему у нее нет «two bathrooms»? Что такое безденежье звезды после фильма, побившего все рекорды по посещаемости на многие годы вперед? Что такое безработица для молодой популярной музыкальной актрисы, находящейся в полном здравии?

О, сколько вопросов! Когда я читала, как Марлен Дитрих выбирает обувь, сгибая туфлю вдвое... Ну, знаете, я до конца девяностых таких туфель в руках не держала. Слава богу, что при жизни застала такие времена и магазины. Нет, никому наша советская жизнь

не была понятна. А советская женщина? Что там «Любимая женщина механика Гаврилова»?..

«Пять вечеров»! Вот это классика! Классический пример настоящей счастливой советской женщины! В Канаде, на фестивале, где была представлена наша картина, публика сорок минут не могла разойтись. Мы стояли на сцене красивые, элегантные. Еще бы! Наш руководитель Никита Сергеевич Михалков и мы, члены его делегации, – Станислав Любшин и я. Какой мы потом с Никитой на банкете танец «врезали»! Все визжали! А все равно – в глазах искорки недоумения. Отчего же эта женщина там, на экране, счастлива? От каких таких пяти вечеров? Надеть нечего. Работа – по шестнадцать часов. Воспитывает племянника. Ни разу не улыбнется. За городом никогда не была, только слышала, что там красиво. Что же это за феномен? Нет у нее ничего. Абсолютно ничего нет. А она – что говорит? «Я здесь хорошо жила. У меня было в жизни много счастья. Дай бог каждому!» Да боже сохрани! Не надо нам такого счастья, милые советские гости. Езжайте к себе и живите там. И будьте себе трижды счастливы.

А есть же еще и слова: «И потом, я никогда не падаю духом, никогда!» Вот это, про дух, никогда никому на свете не объяснить.

А когда, после вечеринки и нашего с Никитой танцевального дивертисмента, где смешались элементы танцев всех народов мира, мы, под утро, еще пошли на «джеймсейшн» – о! У меня правая нога после перелома. Хромаю на правую. У Любшина что-то с коленом левой ноги. Он прихрамывает на левую. Он на левую. Я на правую. Сзади – наш руководитель Никита Михалков: «Ну и делегация у меня! Хромые мои работнички!»

Рассвет. Монреаль. Джазовый вечер, переходящий в утро... Любшин, как в старинной русской пьесе, вдруг падает перед Никитой на колени. Все за столом вздрогнули. «Подустали мы, барин, отпусти, бога ради!»

Вот попробуй переведи им это. Нет, наша жизнь – жизнь на другой планете. Что говорить...

Простите, отошла немного в сторону. Короче, жюри на том фестивале в Маниле разделилось. И тут выступил член жюри из Америки. Да, картина средняя, но сейчас мы оцениваем работу актрисы. Сказал, что видел много фильмов с советскими актрисами, видел и меня у Кончаловского в «Сибириаде». Здесь же с трудом меня узнал. В общем, говорил очень лестные слова обо мне, чего уж... «И главное, – сказал американец, и это решило все, – главное, что эта «любимая женщина» так иступленно ждет своего механика, что то, чего в течение двух серий не могла получить от своего мужа испанка, эта русская от своего механика будет иметь!»

И я получила «Золотого орла».

Глава четвертая

Sunny boy

Джаз, джаз, джаз... Кровь вскипает, мозги тикают, ноги отбивают такт. Как из такой простой мелодии музыкант взлетает к умопомрачительной импровизации, перелопачивает все каноны и создает тут же, вот сейчас, в сию минуту, у всех на глазах, произведение новое, оригинальное, неповторимое. Когда у меня над головой тучка, я слушаю. Слушаю, восхищаюсь, встряхиваюсь и иду в бой с жизнью.

«Жисть ета борьба, дочурка. Маркс, он тибе не дурак, якую богатую книгу наскородил. Не, дочурка, музыка ето великое дело. Ето тебе не книжонка. То усе брех. То для библиотик. У музыки не надо знать ни немецкого, ни американськага. Не-а, музыка проникайт прямо у кров, у душу, у самое сердце. Она тибе усе рассказать и за тебя и за усех. Она и плачить, и веселить. Як поедешь у Москву, зразу иди у консерваторию. До великих людей. Усе слуший. Усе мотай на ус. И к усем людям будь по чести и по ласке».

Дорогой папочка! Дорожку в консерваторию я проложу. Сколько будет радостных праздничных вечеров! О, «Весна священная»! О, мой любимый Евгений Светланов! А трио гениев: Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах! Да, папочка, великие, великие. Я все «мотала на ус».

А первое место, куда побежала восторженная девушка из Харькова, была площадь Маяковского. Там был кукольный театр Сергея Образцова. Аж до самого моего Харькова гремел на всю страну спектакль для взрослых «Под шорох твоих ресниц». Музыкальные пародии. А названия! «Смерть в унитазе», «Старушка в тисках любви», «Фиалки пахнут не тем». А чем? – думала я. Вот дура была. Да я и сейчас не смогла бы объяснить, чем именно не тем пахнут фиалки. Не тем, и все. Почему я туда бросилась? Там играли, пели, а главное, синкопировали. А какие аранжировки! «Сердце бьется чаще, чаще, чаще под шорох твоих ресниц». А «Необыкновенный концерт»?

Люся, стоп! Что за голос! Что за редкий голос прячется за куклой? Куклой, ведущей этот необыкновенный концерт! Дура-то дура, а неординарное схватила сразу. Зиновий Гердт. Ага. Запомним. Летом, будучи на втором курсе ВГИКа, отдыхала в Евпатории. Смотрю фильм «Фанфан Тюльпан». А голос сразу узнаю – золотой голос Зиновия Гердта. А в Москве, на эстраде, вижу его в номере, где с неизменным успехом он исполнял музыкальные пародии. А потом, видно, остыл к эстраде. Очень хотелось познакомиться с ним, близко услышать его голос. И поучиться настоящему русскому языку.

В то время меня уничтожали в институте за мой несусветный харьковский диалект. Юрия Левитана я слушала по радио в течение всей войны и после. Он был моим негласным учителем русской речи: «Говорит Москва. От Советского Информбюро...» Как же это было непохоже на наше родное харьковское: шорыте? (Что говорите?) И вот Гердт, мой второй учитель. Я его выбрала. Я знала весь его закадровый текст из фильма «Фанфан Тюльпан».

Случилось это, когда я впервые снималась в первой своей драматической роли у Владимира Яковлевича Венгерова в фильме «Балтийское небо». На любимой студии «Ленфильм». В это же время в Ленинграде гастролировал Марк Наумович Бернес. Я никогда его концертов не пропускала. «Темная ночь», «Шаланды», «В далекий край товарищ улетаёт», «Почта полевая»... С этим начиналась моя жизнь. Бернес по-своему, порой даже грубо, меня воспитывал терпеливой, скромной. Учил выбирать нужный и подходящий мне репертуар. Учил быть мягкой и несуетливой. «Знаешь, за что я тебя люблю? Ты не блядь. Глазами не рыщешь. Нет, ты настоящая. Приходи в «Европейскую», вместе пойдем на концерт». – «Спасибо, Марк Наумович, обязательно приду».

Вот я и пришла в свою любимую «Европейскую». Вы заметили? У меня в то время все было любимое. Все любимые, все прекрасные, добрые и чудесные.

– Ц-ц, тихо! Проходи сюда. Стань спиной и смотри в окно. Ага, так и стой, пока я не скажу повернуться.

Из ванной доносился замечательный баритон. Чисто, чуть свингуя, баритон напевал «Sunny boy». Я знала эту вещь.

– Ну, давай подпой ему, – шепчет мне Марк Наумович.

В этой мелодии есть интересный полифонический ход. Я подпела. Открылась дверь из ванной, и голос зазвучал в нескольких шагах за моей спиной. По некоторым обертонам я расшифровывала безмолвный диалог: «Кто это, Марк?» – «Ты пой, Зяма, пой». – Голос запел увереннее, без вопросительных знаков. Я стою, смотрю в окно на здание Ленинградской филармонии и чувствую, как голос потихоньку приближается ко мне. Я слышу, как в голосе появляются слегка фривольные фиоритур: мол, что за чувиха, пусть повернется, Марк, дурацкая ситуация, я хочу на нее посмотреть.

– Все, ребята, сколько можно петь, познакомьтесь, наконец, – сказал Бернес, как будто не он был инициатором всей этой сцены.

– Здравствуйте, девушка! Ваше имя?

– Ой! Я вас узнала! По голосу! Вы – Зиновий Гердт! Я вас видела, то есть, извините, слушала в ваших спектаклях, видела на эстраде в пародиях – потрясающе! И знаю все, что вы говорите в фильме «Фанфан Тюльпан».

– Зеленая, хватит тарыхтеть. Назови свое имя. Тебя спросили: «Ваше имя?» Отвечай.

– Извините.

– Марк, а я могу ее знать? Где-то я ее видел.

– Это же знаменитая Люся Гурченко.

– А-а, да-да... Значит, вот это и есть Люся... Гуурчинка...

Никакого удовольствия от знакомства со мной на лице Зиновия Гердта я не увидела.

– Слышишь, Зяма, я у нее спрашиваю, после этой твоей «Ночи», у тебя есть ну хоть пол-лимона? Ты знаешь, что она мне ответила? Она больше любит апельсины! Что ты скажешь? Все они немного «цудрейте», тебе не кажется? Примитивные бутербродники.

Гердт и Бернес смеялись. А мне хотелось возразить насчет бутербродов. Мы в Харькове да и в институте больше пирожки любили, особенно с повидлом. Но промолчала. И правильно сделала. Позже я, конечно, узнала, что такое «бутербродники».

Потом мы еще пели из «Серенады Солнечной долины», из «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, пели все, что можно было знать по тем временам, жестким и суровым запретам на джаз.

Впервые мы снимались с Зиновием Ефимовичем в фильме «Тень». Зиновий Ефимович в роли Министра. Я в роли Юлии Джули. По сюжету я любовница Министра. Гердт – Министр изумительно кокетничал с Юлией Джули. С таким фарсовым плюсом. Ужасно смешно. С иронией к своему персонажу и к себе, легко совмещая. Гердт прихрамывал. И это делало его оригинальным, запоминающимся. В фильме Министр передвигается с помощью слуг: «Взять! Да не меня, а ее! Посадить на колени! Мне, мне на колени, идиоты!»

Зиновий Ефимович рассказывал мне, что однажды в концерте он получил записку: «Скажите, что вы чувствовали, когда Гурченко сидела у вас на коленях?» «Ты знаешь, что я ответил? Дай бог вам хоть раз в жизни почувствовать то, что я тогда чувствовал».

А что же чувствовала я? Много-много было партнеров, но те биотоки были наивысшими ощущениями юмора и оптимизма! Да это же здорово, когда тебя принимают и восхищаются тобой. После дневной съемки мы смотрели английский мюзикл «Оливер». А потом шли по вечернему Ленинграду, пели только что услышанные мелодии и пританцовывали те оригинальные па, которые стали популярны после этого фильма.

А с Андреем Мироновым у них была особая дружба. Они разговаривали на языке намеков. Когда в одной фразе: «А я стою в трусах, как мудак, и спросонья ничего не соображаю» – надо увидеть историю о том, как однажды, гуляя и кружась по Москве и не желая и не имея сил остановиться, а желая еще и еще чего-то, незнамо чего – ну загул, одним словом, – они с Шурой Ширвиндтом и еще с кем-то, не помню, в четыре утра позвонили в дом к Гердту – догулять! Довеселиться! Не хватало Гердта, его реакции, его остроумия, его иронии.

О, как они воспроизводили ту ночь! Фейерверк! Как они носились вдвоем по закоулкам загульного веселья, по вдруг вспыхивающим в памяти деталям!

– Мотор, снимаем! – призывала их к работе режиссер Надежда Кошеверова. «Да-да, мы готовы!» Играли мастерски сцену. И как только раздавалось: «Снято!» – тут же, без перехода, – взрыв смеха и продолжение воспоминаний о той замечательной загульной ночи. И с той самой фразы, на которой их перебили. И на той же самой высокой ноте. Это очень, очень талантливо! Хоть это происходило с ними и меня там не было, я заражалась их мятежным духом, летала с ними в той ночной Москве, в том времени. И видела Таню, жену Зиновия Ефимовича, которая с удовольствием накрывала стол для гостей в четыре утра.

– Зяма, надень халат.

– Нет, пусть будет в трусах, это пикантно, – желает Миронов. И хохот, смех, хохот, смех...

И эти бурные, веселые воспоминания переходят в ночную «Стрелу», где истории и анекдоты перемежаются стихами. И тут стоп. Я восхищаюсь актерами, которые хорошо читают стихи. Может быть, потому, что сама не умею этого. Но восторг от чтения стихов я испытывала крайне редко. Впервые плакала, когда читал стихи Дмитрий Николаевич Журавлев. Великолепно читал стихи мой учитель Сергей Аполлинарьевич Герасимов. И вот – Гердт и Миронов!

До утра! Наперебой лились стихи Пушкина, Пастернака, Лермонтова, Заболоцкого. И спать не хотелось. И не хотелось, чтобы наступал рассвет. И не хотелось расставаться. Хотелось слушать и слушать. Слушать и слушать. Два моих могучих современника. Зяма и Андрюша. Андрюша и Зяма. Так просто. Как достичь вот такой простоты? Такой доступности на всех уровнях? Их слушали и понимали тети и тетеньки, дяди и дядечки, и дамы с господами, и леди с джентльменами, и пионеры, и товарищи. Ах! Ах, ах и ах!

В 1972 году, в марте месяце, у меня был первый и единственный творческий вечер в Москве в ЦДРИ. Гердт рассказывал о наших съемках в фильме «Тень». Зал очень бурно его приветствовал.

Рассказывал смешно. Он меня похвалил за смелость. Я первая отважилась спеть Вертинского. У меня не было никакого страха. Страх появился потом, когда осознала, что действительно «отважилась». Но «Маленькая балерина» прошла на ура.

Как часто в нашей актерской жизни фильмы, концерты разбрасывают нас по разным городам, по разным коллективам. После «Тени» и «Соломенной шляпки» мы с Зиновием Ефимовичем долго не встречались. У меня началась бурная работа в кино. И параллельно пошли разговоры о сложном моем характере. Характер был всегда. Успеха не было. Появился успех, появились и разговоры о тяжелом характере. А как же! Это аксиома. Успех бесследно не проходит.

Подряд выходили фильмы, которые с успехом шли на экранах. И пошли сплетни, разговоры. И что было, и чего не было. И чего вообще не могло быть. Я работала и многого не знала. И если оказывалась в местах, где люди самые разные, я видела, как изучали меня жадными и даже испуганными глазами. Наверное, так смотрят на того, о ком слышали много разного и о ком сами думали самое разное. И вот этот объект появился. Как интересно! Надо иметь, скажу я вам, дорогие мои читатели, много мужества и еще чего-то и чего-то. Зная,

что это такое, никогда не рассматриваю людей, о которых говорят много небылиц. Да у меня прямо страсть к людям, которые делают что-то первоклассное. Я ими восхищаюсь.

Вообще я много думала о том, почему у меня тяжелый характер. Думаю, главное в том, что мой рассудок, мой мозг не мог подчиняться людям, в которых я подмечала провалы, недостатку чего-то важного для меня. А какая-то непреодолимая гордость мешала мне подчиняться из-за осторожности. Ну не могу подчиняться. Если не чувствую уважения. У меня это сразу на лице.

Виделись мы с Зиновием Ефимовичем или по случаю дней рождения у общих друзей, или в праздники на званых ужинах. Я с Костей всегда пела, и Гердт всегда хвалил мою музыкальность. Но по взгляду, по каким-то незаметным на первый взгляд деталям поведения, репликам – ведь он человек очень тонкий и чуткий – я видела некую раздвоенность между тем, что слышал обо мне, и тем, что видит сейчас. А есть еще и третья сторона. Мы многое прошли вместе. Не сходилась. Вопросов я не задавала. Нет-нет, к тому времени я научилась не обнажать своих мыслей. По моему лицу ничего нельзя было прочесть. Пусть будет так. Время все расставит по своим местам. Или нет. Что делать!

На ТВ-6 была прекрасная передача. «Чай-клуб». Вел ее Гердт. Вел ее показательно. Говорил своими личностными словами. Сразу было слышно – говорил не по написанному. Перемежал рассказы стихами. Знал он их великое множество. Замечательные вечера!

Предложили мне принять участие в этой программе «Чай-клуб» к 9 Мая. «С удовольствием». – «А с кем бы вы хотели прийти в гости к Гердту?» – «Конечно, с Ю. В.» (Юрием Владимировичем Никулиным).

На даче у Гердта в кадре сидели трое – двое воевавших и я, «ребенок войны». Все те песни наши. Все те стихи наши. Вся та атмосфера наша. Родное, родные, родная, родня. Мне уже было абсолютно все равно, есть ли у Гердта раздвоение в отношении меня. Да я забыла об этом. Мне нужно было более всего в тот день почувствовать важность того, особого, военного братства.

В то время моя страна сильно спотыкалась, и я не понимала – Родина она или Отечество. Предел у нее или беспредел. И демократично ли любить свою Родину до одури? И вообще, что демократично, а что нет. Тот день меня здорово поддержал в моей преданности – ладно, пусть будет Отечество. Все равно внутри я говорю Родина.

После передачи за столом у Гердтов полились анекдоты и истории. Ю. В. и Гердт! Одну историю из военной жизни Зиновия Ефимовича я запомнила давно и еще раз попросила ее рассказать. У них был в роте повар. Говорил он на каком-то невероятном языке. Его солдаты провоцировали, чтобы он побольше поговорил. А они бы посмеялись. Дальше они распоясывались, и повар говорил свое коронное: «Идите вы все на...!» – ставя ударение не на предлоге, а на том самом коротком популярном русском слове. Дождавшись, солдаты смеялись. А мы опять, еще и еще раз смеялись за столом. Вот и сейчас я так ясно и близко слышу голос Гердта... Аж в горле защипало.

– Все, братцы, все, – Гердт встал с рюмкой водки! – идите вы все на..., – естественно, ставя ударение на том самом популярном коротком слове, – выпьем за День Победы!

Как важно, если в жизни тебе выпадает такой день. Его не ждешь. Он вроде случайный. Но нет. Именно такой день тебе и был нужен. Этот день уберет суету и сомнения. Он скажет: «Люся, стоп!» Не надо «под время» наспех переделывать свои манеры, одежду, походку. Не надо перестраиваться посезонно. Будь собой.

Кланяюсь тому весеннему победному дню!

Как-то, спустя месяца два, сидим на кухне, завтракаем, звонок. «Люся? Это Зиновий Ефимович». Я его никогда не называла Зямой, и Зиновий Ефимович это помнил. У нас всегда в отношениях сохранялась уважительная дистанция. Очень важная вещь в актерских отношениях. «Я тебе хочу сказать вот что. Я хочу, чтобы ты знала...»

Этого писать не буду. Он сказал самые-самые те слова, которые невозможно говорить так вот прямо в лицо. По телефону они воздействуют вдвойне. После тех его слов, ей-богу, можно сойти с верной дистанции и взлететь. И стать звездой недосыгаемой. Но он знал, что те слова он адресует человеку битому. И тот никуда не взлетит. Эти слова ему нужны. «Так что никого не слушай. Всякие разговоры... В общем, это естественно. Живи и работай на радость нам, твоим друзьям и поклонникам».

Тот звонок дорогого стоил.

На юбилее Зиновия Ефимовича желающих сказать, выступить было очень много. Мне хотелось сделать что-то емкое, чтобы в выступление вместить те самые разнообразные моменты, в которых нас сводила жизнь, судьба. Я решила спеть песню, которую слышала с трех лет по нашему довоенному репродуктору. Ее пел хор имени Пятницкого в сопровождении баяна. А папа мой так восхищался баянистом, который играл «як зверь», и народными «вольными» голосами. Через столько десятилетий я осуществила затаившуюся в душе мысль: а не спеть ли мне под родимый баян «На закате ходит парень возле дома моего»?

На сцене были Ю. В., медсестра, которая вынесла с поля боя раненого Гердта, и сам герой вечера, Зиновий Ефимович. Они, конечно, знали эту песню и подпевали мне. Попала! Песня внесла нужную динамику в атмосферу вечера. Как же это здорово, когда всеми фибрами чувствуешь – туда, туда! Попала! У Гердта, под лохматыми бровями, заблестели его прекрасные добрые глаза. А после песни я рассказала о том, как нас познакомил Марк Бернес. И мы спели вдвоем с Гердтом «Sunny boy».

Эта мелодия, как любимый с детства аромат дома, вдруг возобладала с такой силой, так воскресила то наше «музыкальное» знакомство, что все настоящее, все, что было вокруг, в этот миг исчезло совершенно.

«Европейская». В окне зал филармонии. И чувственный баритон «Зямы». Марк Бернес. И эта американская мелодия перенесла нас в то время, когда запретным было многое, чего хотелось. В то время, когда все еще было впереди. Надежды, надежды.

Судьба непредсказуема. Кто бы мог в те годы предсказать Марку Бернесу такую параболу будущего. Через тридцать пять лет, в Америке, я познакомлюсь с его внуком. В гримерную войдет молодой человек. И рост, и сложение, и пронзительный взгляд. Аж мурашки по телу. Только русского языка не знает. Я ему буду петь песни его знаменитого деда. Внука тоже зовут Марк Бернес.

Ах, «Sunny boy», ах, «Солнечный мальчик».

А когда все отпели и отговорили, Зиновий Гердт читал стихи. Читал и читал. А зал не отпускал и аплодировал. И аплодировал. И аплодировал. И не хотелось расходиться. И не хотелось, чтобы наступал рассвет. А хотелось слушать и слушать. Слушать и слушать.

Глава пятая

Прелюдия

Лето девяносто первого года. Фильмы снимают все. Все, кто может достать деньги. Ассистент по реквизиту (мы работали с ним в одной из картин) спрашивает: «Как вы думаете, а не снять ли мне фильм? Деньги могу достать». Раньше я бы ответила ему то, что думала. А сейчас, кто его знает? Может быть, он гений, но его душило государство. «Там» некоторые режиссеры начинали с осветителей, а он сразу с реквизита. Да и Рафаэль Суриковского училища не кончал. Так что молчи, Люся, смотри, что будет. Летом девяносто первого мне выпала работа в фильме «Моя морячка». Режиссер Анатолий Эйрамджан писал сценарий для другой актрисы, но... В кино всегда есть разные «но». И я должна была быстро войти в материал. Снять летнюю натуру надо за десять дней. И сняли! Костюмы притащила свои. Музыка и песни к фильму тоже мои. Композитор был не по карману. Режиссер просил делать роль по его видению. У меня не было возражений. И мы вполне нормально отработали картину.

Неужели было такое время, когда фильмы снимали по году-полтора? Деньги-то были государственные. А теперь дают деньги спонсоры – свои, личные. И ждут прибылей, а как же? В прошлой жизни самые большие доходы государству приносило что? Водка, табак, кино. Вот, по старой памяти, и вкладывали свои деньги. Поначалу. А потом у спонсора погорело дело, и картина – стоп. Ищи другого. А за это время герои постарели, дети выросли. А то узнаёшь, что спонсор плюнул на все и уехал жить за рубеж. А многие, далекие от кино, соприкоснувшись близко с «фабрикой грез», охладевали: «Нет, милые киношники, это не фабрика, это какой-то сумасшедший дом. Слезы, амбиции, судьбы, нервы, инфаркты. Будьте вы неладны. Выкабкивайтесь сами!» И привет.

«Морячка» много раз прошла по ТВ. Милая, ни на что не претендующая картина. Имела успех у тех, кто любит такие легкие фильмы. А что я помню? Десять дней работы с утра до вечера, горы текста, и хоть умри, но держи себя в самой боевой форме.

Костя приехал, когда я уже несколько дней снималась. Странно. Мы всегда приезжали вместе. Но он был у родителей. Святое. Приехал вместе с моей костюмершей. Она привезла еще кое-какие вещи для роли. Картина малобюджетная. Спонсор прижимистый. Актриса, то есть я, понимает, что лето в разгаре. Народу много. Костюмерша не из группы. Есть только моя комната. Вот мы и жили втроем в комнате. «Наше трио», как выразилась однажды она в одном из писем. В фильме снимались все члены семей работников съемочной группы. Кто в эпизодах, кто в массовке. Костя ни за что не хотел ни фотографироваться, ни попадать в кадр. Проводили свободные мои часы «нашим трио». Он, в том девяносто первом году, уже совсем не мог без третьего человека. стыдно было смотреть мне в глаза. Позже как-то я спрошу: «А что это за игра была с костюмершей?»

«Да она была буфером».

Типичное слово его типичной семьи.

Потому для меня «Моя морячка» была последней картиной, где я, как слепец, «дула свое» и «ничегошеньки» не видела вокруг. А может, мое ведьмино чутье просто не подпускало меня близко к мысли о разрыве? «Ты не готова. Взорвешься в прах. Подожди, не замечай. Еще не время. Не время».

Я теперь иногда думаю: а правильно ли мне с раннего детства внушал мой папа: «Усё людя-ам, людя-ам, ничегенька себе»? «Артист выйшов на сцену, вдарив у зал. И люди усе завлыбалися, заплакали, притулилися ближый друг до друга и разомлявилися. Не, дочурка, главное ето люди. Усе людя-ам».

Ну, жила бы я рядом с мужем, не ездила бы в экспедиции, в концерты, холила бы его и лелеяла, и не было бы ни «Пяти вечеров», ни «Двадцати дней без войны», ни «Вокзала», ни «Гаврилова»... Ах, да много чего не было бы.

Спрашивают: почему опять замуж? А что делать? Загнанная лошадь никому не нужна. Ну и не надо. Ее сильно обидели. Она гордая. Прячется от глаз. Плачет-плачет, кувыркается-кувыркается. И враз увидела себя в зеркале: ой, да что это со мной? «Нет, так не пойдешь. Ну ка, подберись-подкрасься, моя птичка, положи на усех семь куч и иди вперед!» И что? Смотришь, через год-два, а то и три она, эта лошадь, ну, не лань, конечно, но вполне пристойная лошадка. Обновленная, слегка утомленная, что, несомненно, вносит в ее облик оригинальность и тайну. Проверено. Гарантирую. Как говорится, есть справки с последних мест. Правда, есть и пожелания. А я думаю так: гордая женщина уйдет из той жизни, где ее обманывают.

Но это преображение еще впереди. Пока я рабочая лошадь.

Меня подстерегала новая картина. Эротическая. «СекСказка». А что? Гулять так гулять. У нас демократия. Что хочу, то и делаю. Вон по ТВ, в Думе ходит мужик в красном пиджаке, а сверху прицепил большие женские груди. И ничего. А мне сам Бог велел. Я актриса.

Так. Что я знаю об эротике? И есть ли она у нас? И была ли? И какая она на ощупь? С самого первого шага на съемочную площадку я знала: челка – это вульгарно, приоткрытое колено – кафешантан. О приоткрытой груди и речи нет. Короче. Ни челки. Ни плеча. Ни груди. Ни ноги. Разрешили талию глухо зачехлить в черное платье. Разрешили белую муфточку. А вот уже и челка вошла в моду. Вот и ноги открываем выше колена. Вот и плечики открываем в водевилях, ну так, чтобы как можно ниже плечиков. А такой свободы и откровения, как там, у них, – нет. Слабо! Всегда в голове отстукивало: за флажки нельзя. Жесткий самоконтроль. А ведь меня многие зрительницы не любили именно за фривольность. Ничего. Вот и пришло время. Я со своими легкомысленными штучками плетусь далеко в хвосте наших бурных эротических будней.

«Сибириада». Режиссер Андрей Кончаловский. Впервые, в 1977 году, я встретила режиссера, который про женщин знает все. Ну, если не все, то очень-очень многое. Меня навсегда поразило, как он смог мне внушить, что я неотразима, что я самая-самая. Это я-то. После сильнейшего перелома ноги, с палкой, с мешками под глазами. Пробовала хихикать. Жалкое это зрелище, когда прыг-скок, а нет ни прыжка, ни скока. Сиди, Люся, и вежливо помалкивай. Хорошо бы помалкивать загадочно. Как будто внутри все бушует и разрывает тебя на части. А ты сдерживаешь. И только милая загадочная улыбка. Десятки раз я это видела на кинопробах. Актер недодает. Но режиссер знает, что в фильме он так его раскрутит, ха-ха! Утвердят. Крутят его, крутят, а, кроме недодавания и загадочной улыбки, ничего нет. А иногда есть успех. Оказывается, это и есть «имидж». Кино – штука нечистая. В театре, в сольном концерте ты весь как на ладони. А в кино – музыка, шумы, спецэффекты. А на крупном плане катится слеза. А чего не всплакнуть? Жизнь трудная, режиссер разочарован и раздражается при одном появлении актрисы в кадре. Ну! Слезы! Мотор! И пожалуйста – революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась! Ура!

В «Сибириаде» была сцена любви в полном сексуальном смысле. А в Госкино эту сцену снимать запретили. Но Андрей Сергеевич поклялся, что он это снимет смешно. «Ну, только если смешно. Снимайте. Посмотрим».

Та-ак. Отрепетировать это трудно. Значит, играем, договорившись, горячим способом. То есть с ходу. А у меня безумные боли в ноге и страх – вдруг партнер, Никита Сергеевич Михалков, заденет или наступит. Нет, он очень осторожен. Все видит и ничего не забывает. А вдруг... Репетируем начало сцены. Пока стоя. Лежать будем в следующем кадре. Никита прекрасен. Он мне нравится. А это очень важно, когда партнер приятен. Это и на экране сразу

видно, и себя не нужно вздрючивать. Сняли дубль. Нормально. Андрон (так Андрея Кончаловского называли в семье) отводит своего брата Никиту в сторону. Они о чем-то говорят, поглядывая в мою сторону. Я срочно себя осматриваю. Ни чулки, на резинках выше колен, не сползли. Ни бюстгальтер, на восьми пуговицах, не съехал.

Интересно, как в нужный момент давние-давние воспоминания оживают. И органично вплетаются в роль. Время наших сцен в «Сибириаде» – годы 50-е. После войны, в Харькове, «на дому» стали шить женщинам вот такие лифчики. У мамы тогда вес был около девяносто кгэ. Хотелось быть стройнее. Однажды вечером мама пришла с работы с большим пакетом. Пришла очень счастливая.

«А иде это ты была? А? Лялюш? Во, як глаза блестять!»

– Да вот, Марк, смотри.

Папа взял в руки сложное сооружение с петлями, пуговицами и резинками, смотрел, крутил:

«Ну, Лёль, тут тебе полная збруя, прямо як у лошади».

С тех пор у нас дома даже нормальные лифчики назывались збруями.

В «Сибириаде» у меня была точно такая же збруя. Такая родная. Пахло моим домом, семьей. Ах, какой художник по костюмам Майя Абар-Барановская! Знает все. До самых-самых мелочей. В последний момент, перед тем как мне войти в кадр, приколола мне английскую булавку с висящими еще такими же пятью штуками. Зачем? А вот так. А вдруг понадобятся. Как папа говорил: «При всякий случай».

Снимаем второй дубль. И вдруг Никита, как цирковой маг, молниеносно отщелкал пуговицы от петель, вынул на поверхность мою испуганную грудь – пульс забил в висках до умопомрачения. Вида не подаю.

– Андрон, мы же не говорили об этом, ну как же...

– Люся, не волнуйся, этот дубль я никому не покажу. Это для заграничной копии.

А потом мы с Никитой лежали под плащ-палаткой. Лежали «бутербродом». Вот так, Марк Наумович. Сколько лет прошло, впервые играем плотскую сцену. Но чтобы было смешно, какая самая советская мизансцена? Конечно, мизансцена «бутербродников». Никита надо мной. Держится на локтях, осторожно, чтобы не задеть мою больную ногу. А я здоровой ногой брыкаюсь, а он ее опять под плащ-палатку, я брыкаюсь, а он опять... Смешно получилось. А общий план снимали без меня. Пригласили из массовки девушку-студентку. Андрон их накрыл плащ-палаткой, и поехали – мотор! Потом Никита рассказывал, как девушка под плащ-палаткой спросила: «Скажите, а как фильм называется?»

Вот и весь мой экранный сексуальный опыт. И вдруг свобода. Делайте что хотите. Сексуальная революция дождалась своего момента. Режиссер только набрал воздуха, чтобы крикнуть: «Мотор!» Бац – и все голые. Ну, не победа ли свободы и демократии?

Кассеты с порнографией. В киосках рядом со стиральными порошками, апельсинами, сигаретами и колготками бледно-розовые мужские фаллосы. Стоят, как новогодние свечи. И пошло, и поехало. В последние годы в исчезнувшей из эфира, но здорово заинтересовавшей наших зрителей программе «Про это» бывали такие «экземпляры». Дура ты зеленая, ничего-то ты не знаешь. Как твоя жизнь бездарно прошла! Но даже в дурном сне невозможно себе представить, что можно «жить с душем». «Для меня драма, когда в доме нет горячей воды». Я чуть со стула не упала. Мужчину заменил душ! Из шланга течет теплая вода. Она счастлива. У нее острый оргазм. Зал на нее смотрит. Да что зал – страна смотрит. И интересно, что у ребят в зале ни смешинки, ни иронии. Во времена!

«Она такая свежая. Когда я ем «Juicy fruit», у меня душа поет». От чего? От резинки? Да, реклама. Но как самозабвенно, без иронии. Один маленький мальчик мне сказал: «Люся, спой мне что-нибудь «мужчинское». А в глазах смешинки. Может быть, из него выйдет мужчина?

По рассказу Владимира Набокова «Сказка» был написан сценарий к фильму «СекСказка». Я стала размышлять, вспоминать, сопоставлять, читать «про это». Эротика. Что для меня означает это слово? Да ничего. Я об этом никогда не задумывалась. Как его обозначить одним понятным словом? Не знаю. Но почему я влюблялась в голос мужчины? По телефону я слушала голос, а внутри разливалось нечто такое, что нужно было немедленно завинтить, чтобы не расслабиться, не стать доступной. Почему я влюбилась в Машиного отца? Я не могла оторвать глаз от его профиля, затылка, век.

А почему такое простое стихотворение: «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись», – мне представляется загадочным и чувственным? Мое воображение рисует их рядом. Он ее нежно обнимает. А может, они и не рядом, это только фантазии поэта? Почему в фильме «Римские каникулы» так хочешь героям счастья, аж до вопля: «Ну же, милые, вы такие красивые, вы такая пара! Будьте вместе на всю жизнь!» А на экране ничего сексуального. Почему, когда Андрон Кончаловский мне что-то объясняет про роль, я смотрю на его прекрасные выразительные руки? И эти внутренние приливы чувств, чувственности, чего-то очень интимного я передавала партнеру в кадре. Что это? Ничего еще в чистом виде сексуального нет, а как волнует.

Может, главное – это «до»? Может, главное – это прелюдия? Эротика – прелюдия? Да, это самое сильное, непобедимое чувство. Оно сильнее. А там – будь все проклято! Знаю, что ничего хорошего там, где-то, когда-то не будет. Но что думать о том далеком? Жизнь одна. Она летит, летит, и неизвестно, что будет завтра. А вокруг: «Да живи ты сегодняшним днем!» И... и всплываешь в следующий неизбежный этап. Он менее романтичен. А через время в памяти остается только прелюдия. Ее ощущаешь во всех нюансах. А все бури, переполохи, казалась-казалось, пришел не пришел, твое-мое... Ах...

Герой фильма «СекСказка» проходит через увлечения разными женщинами, которых предоставляет ему женщина-черт. Как вы понимаете, именно мне и надлежало сыграть эту чертяку.

Игра. Чет-нечет. До двенадцати ночи герой, по уговору с ней, должен остановиться на одной из женщин. И эта женщина должна быть «нечет». Конечно, ему трудно остановиться. Все хороши. Все возбуждают. Хочется всех и всего. Героиня-черт иногда перевоплощается в одну из женщин и близко рассматривает героя. А его несет от одной к другой. К двенадцати ночи он понимает, что нашел, остановился. Вот она, единственная. Это героиня-черт оборачивается нежной очаровательной дамой. В ней есть все! Все от всех тех, других. И что-то такое еще, Нечто, чего и не объяснишь. Но поздно. Пробило двенадцать.

– Я выиграл! – восклицает герой.

– Нет, вы проиграли. Я четная.

Проиграл свою судьбу. Плоть любопытствует. А вдруг с кем-то другим будет лучше, интересней, по-другому? А пройдя круг, выпотрошенный, останавливается и понимает, что хорошее пропустил. Поезд ушел. Я не люблю цитат, но одна цитата давно меня заставляла задуматься. «Быть честной, недоступной для света и куртизанкой для мужа – значит быть идеальной женщиной» (Бальзак).

Спать есть с кем, а просыпаться и пить по утрам кофе не с кем. Мужчины? Ведь я их наблюдала в долгих экспедициях. Нет, было буквально несколько уникальных людей. Они были заняты своим делом, которое поглощало их целиком. Или слишком умны, чтобы себя разбазаривать, если дома женщина стоящая. А так... «Идеальные мужья», оставшиеся без драгоценной половины, сначала тихо поглядывают, потом поглаживают, ну а потом «как карта ляжет». Если он не «идеальный», то ведет себя открыто, громко и на полную железку. Есть оригинальные однолюбы. Любит, пока избранница не станет прочитанной и выпотрошенной. Он ее разлюбил открыто и «честно». Появилась другая избранница. И он опять однолюб. Есть охотники. А есть охотники вечные, неустанные, неутомимые. Охота

открыта «круглый сезон». Преследуют добычу, но при этом примечают на будущее все, что «шевелится». Чтобы потом добиться. Разбивают окна, ломают двери. Ого, какая любовь! А наутро глаза пустые, мертвые и буравят пространство – ну, появись же хоть тень, хоть фигура! И не важно – старая-молодая, худая-пышная. Те, кто таких ближе знает, – смеются. Даже мужчины. Все очень интересно.

...Эта картина снималась в Вильнюсе. Там у меня было много времени, чтобы понять, что тот предвестник внутреннего переполоха был не случаен. Вот оно и сбывается. Кино на глазах теряет свое предназначение и уровень. А дома... Да уже, по сути, его и нет. Только никто не говорит: «Конец». Я понимала, что это должна сделать я. К этому все шло. Меня подвели к этому. То давай двойное гражданство – ты здесь, а я в Израиле. То – открою свою студию записи музыки, нужна твоя фамилия. Действуй, открывай! Я уже не соответствовала тому амплуа, которого требовало новое время. «Актриса, талант? Да кому это нужно?» Недавно прочла в газете и не удивилась. По опросам, то есть по рейтингу, талант вышел на третье место. Сегодня интереснее что-то бьющее по нервам и мозгам. Талант не в моде. За талант много не платят. Тем более в кино. Кино и деньги – уже смешно, кто знает гонорары артиста. Нашего артиста. А какие открываются перспективы! И дачи, и иномарки, и магазинчики, и часики, и дубленочки. А кожаных курточек сколько! Костя все это очень любил. А мир повидать, себя показать! Тут снимайся-снимайся, концертируй и пляши – не потянешь. Вообще я никогда не ожидала от Кости такого оживления. Он получил свое время. Он преобразился. «Я себя исчерпал». Для меня. То есть для жизни духовной. «Не хлебом единым» кончилось. А другого – не умею я.

Странные были у нас переговоры по телефону. Ехать ко мне в Вильнюс или не ехать? А семнадцать с половиной лет: «Я без тебя минуты жить не могу!» И моя мама говорит, что странное поведение. Звонит, уезжает, приезжает, раздражительный.

– Он не прилетит, наверное, – говорит мама.

– Тут что-то с самолетами в аэропорту, – говорит Костя.

Один самолет прилетел, второй. Всей группой сидим за столом. Завтра вставать не надо, выходной. Стук в дверь. Костя. Ну, тут даже не знаю, что и сказать. Такого пылающего взгляда я у него давно не видела. Глаза влюбленные, ногой давит под столом мою ногу. Вся группа была им покорена. Какая ты счастливая! Мой никогда так не посмотрит. Сколько? Семнадцать лет? Вот это да!

А когда остались одни – ну, с ума сойти. В глаза смотреть боится. «Ты скажи наконец, что происходит?» Нет, лучше не продолжать. Говорить не о чем. Как только приехали в Москву, примчался его папа. Не входя в квартиру, у порога, пошептались о чем-то очень далеко от меня. Отъездом сына в Вильнюс был крайне недоволен. Идет подготовка к другой жизни. Но, видно, не все еще созрело. Скоро все станет на свои места. Но до этого «скоро» еще надо было дожить. А сейчас, после «СекСказки», у меня отдых. Все. С картинами закончу и буду отдыхать. Тогда и разберусь.

Какие непостижимые трюки меня преследовали с восемьдесят седьмого по девяносто первый год! Последние кадры «Морячки» снимались в цирке на Цветном бульваре. Я стою на арене. И вдруг с купола летит мешок-груз. Он весит около трех-четырех кг. Кто-то из осветителей, поправляя свет, сдвинул этот груз. И этот груз падает в полуметре от меня. Я даже охнуть не успела. Только пыль столбом. У меня сохранилась эта жуткая съемка. Костя снимал на видео. В ту съемку он все куда-то отъезжал, возвращался. А с моей костюмершей был обморок, в цирк вызывали «Скорую». Ах, если бы можно было написать все... Уж точно не соскучишься. Но опустим многое...

Это ЧП. Юрий Владимирович Никулин тут же приехал в цирк. «Ты знаешь, этот мешок летит, набирает скорость, и вес около тонны. Молись, что жива. Расплющил бы...»

Может, кто-то приказал: «Живи!»? Терпи! Семнадцать лет тебе попризнавались, и будя. Наступает в твоей личной жизни другое время, Людмила.

«СекСказка», женщина-черт. Сколько в том фильме произошло драматических моментов и у меня, и у других членов съемочной группы. А ведь папа всегда говорил: «Никогда не будь рядом, иде пахнуть небожеским».

Глава шестая

Белые хризантемы

Эта глава будет совсем сбивчива и непоследовательна. По порядку не получается.

В декабре 1991 года я повисла в воздухе. Это уже не двадцать пять и не тридцать пять, если родилась в год ударного стахановского движения. С чего начинать? Опять начинать? Люди продолжают, отдыхают, доживают. А мне опять начинать. Там прошла треть жизни. Одна знакомая Кости из Москонцерта говорила мне: «Вспомните, как он ухаживал за вами, когда вы сломали ногу».

– Да, это так. Но если бы с ним что-то случилось, я поступила бы так же.

Это верно. По-моему, он говорит, что это все для родителей. Они хотят внуков своих, понимаете!

– Понимаю.

Это отвратительно, но, к сожалению, я принадлежу к тем людям, которые в особые моменты жизни все переносят на себя. Хотя и борюсь, борюсь с этим. Нет, я бы не смогла не отдать долга. Я бы не смогла опуститься. Я бы не смогла притворяться, угождать.

Ну и что? Ну и дура. А иногда как надо и подхихикнуть, и подсоврать, и восхищнуться. Думаете, не пробовала? Неоднократно. А приду домой, посмотрю на свое лживое лицо в зеркало, и плюнуть хочется. Противно. Завтра скажу. Завтра брошу. Завтра захлопну. И бросаю. И говорила. И хлопала. Потому и не прижилась ни в одном коллективе. Ни в одном браке. Коллектив, брак – это насилие. Вообще при слове «брак» у меня еще с детства тоска. Почему они вступают в какой-то брак, если они хотят быть счастливыми? «Брак – это торжественная сдача в эксплуатацию».

У меня слово «брак» сразу ассоциируется с браком пленки. Брак пленки – это значит переснимать. Все заново. Опять плакать, рыдать, умирать. Еще и еще раз. Ужас. Брак – изделие неполноценное. «Этот щенок отбракованный». Они вступили в брак. Какая-то темная штука этот брак. Но «браком» он становился позже. А вначале, в первые счастливые месяцы влюбленности, притирки, открытия друг друга, разве думаешь о «браке»? Это потом...

Это потом она всегда стремится сказать правду, доведенная до отчаяния. Швыряет ему правду в лицо, забывая о чувстве самосохранения. Швыряет правду ради мига победного удовлетворения. Ну и что? А он со своими изменами остается немым до могилы. Во как! И только двое могут знать, что именно приводит к разрыву. Это до конца невозможно объяснить третьему. Судить о мучительной боли разрыва, распада двух людей может тот, кто испытал нечто подобное. В браке витает измена. Это мина или взорвется, или ее кто-то из двоих осторожно разминирует. Кто из двоих умнее. Брак – искусство.

Марк Наумович Бернес после смерти жены долго жил один. Никого рядом с собой не терпел. «Знаешь, в это дело надо нырять, когда тебе двадцать, когда в голове пусто и полно внизу. А теперь, понимаешь, зеленая, сидишь рядом с ней и взвешиваешь, и внимательно смотришь, а что там у нее во рту с правым коренным? А не болел ли кто-то там у нее в десятом поколении энцефалитом? Вот так. Было у меня одно увлечение. Жена долго болела. Когда она умерла, я так страдал. Приходила эта красивая женщина ко мне. Ухаживала, кормила. Спала на раскладушке. Через неделю я понял, что на ней не женюсь никогда. А как сладко было встречаться в подъездах, у друзей, в машине! Нет. Дура ты зеленая. Ничего в жизни не понимаешь. Потом поймешь».

Но как хочется жить без оглядки, без испуга, что тебя обманывают. У меня дома с утра до вечера, ежедневно, были признания в любви. От этих «еже» в какой-то момент можно в это поверить. И как-то в разгар ежедневных «еже-еже» один артист в остроумной компании

спросил: «Ну, бабы, назовите мне женщину, которая в своей жизни не была обманута?» Я тут же хотела вскочить. Но противный, далеко не глупый мой внутренний голос приказал: «Люся, стоп! Сиди и не рыпайся». Он всегда прав, мой внутренний голос. Он – не я.

Когда же это началось? С чего? Истерики, швыряние стульев, телефонов. И желание вызвать меня на нервный срыв. Когда я почувствовала, что назавтра нет никаких сил ехать на съемку. Да вы что! Я собрала в красивые кофры все его вещи. Красивое он любил. И что ж, пока!

– Прости!

– За что?

– Да, я зажрался. Я каюсь, каюсь.

Каюсь. В чем? Я смотрю на него. Ба! Да это уже совсем другой человек. Как изменился тот человек из семидесятых... Как быстро он принял железную логику нового времени. Одет с иголочки, руки в брюки, глядит на всех поверх голов. Быстро переходит на «ты», всех по плечу. «У меня братья в Нью-Йорке». Какие, откуда? Какая метаморфоза. Когда же это началось?

Вдруг мы стали часто менять музыкантов. «Они не возбуждают». А почему они должны возбуждать его? Они на сцене для публики. Но тогда мне было не до того, чтобы разбираться в «возбуждениях». У меня по три концерта в день. Силы, силы. Денег платят больше. И неизвестно, сколько это продлится. Ничего не понятно с этой свободой. Куда она выльется. Но после концертов костюмерша стала подольше задерживаться со мной. А Костя – с музыкантами, хоть они его и не возбуждают. Костюмерша пришла ко мне из того, первого, «Бенефиса» семьдесят восьмого года. Сама вызвалась мне что-то прострочить – я шью руками. Была долгое время внимательна и скромна. Изучила многое, что мне нравилось, много мне шила. Первые вещи все были с укороченной талией. Все время вшивали заплаты. Она дома примеряла мои наряды, ставила мою пластинку, пела и танцевала. Ну что ж, думаю, поклонница. Она не была замужем и постепенно стала своим человеком в нашей семье. Прошли годы, многое изменилось. Она мне стала рассказывать, что все у нее спрашивают, не сестра ли мне она. А потом уже, не дочь ли она моя. Родилась она в 1948 году. А чем она хуже? Она тоже пишет роман. Стала ненавидеть слово «костюмерша»: «Я мастер! Теперь я получаю в долларах, а не жалкие рубли».

Интересная история. Мы разошлись с Костей. Она стала звонить ему, Костя ей. «Он такой податливый». А мне все письма присылала. Недавно написала, что он и сейчас ей часто звонит. «Но своего телефона не дает».

А вообще грош мне цена в базарный день. Но как же покладисто и деликатно, тонко и хитро надо было себя вести, чтобы так просто обвести такого, казалось бы, многоопытного и проницательного человека, как я. Грош, грош мне цена.

Передо мной листок бумаги. На нем телефоны, по которым теперь мне самой нужно звонить, договариваться, платить, отдавать, устраиваться и т. д. Теперь у меня ни музыканта, ни директора, ни друга, ни товарища, не говоря уже о чем-то «брачном». Все выбраковалось. Испарилось. Теперь делай все сама. «Да если бы не я, ты бы ничего не добилась». Это я помню. Потому и повторяюсь.

Дружба, близкое общение предполагают широкую свободу ума. Даже для самого бескорыстного человека красота, талант или успех друга, подруги в сравнении с его собственными достоинствами всегда болезненны. И вообще, любить человека, который что-то делает лучше тебя, очень трудно. Я дружила всегда до конца. В детстве была очень требовательна, писала письма и очень нежные подписи на фотографиях. Ревновала, если любимая подруга заводила дружбу с другой девочкой. Была готова отдать жизнь, пожертвовать всем ради подруги. Прохладные отношения и чувства меня не удовлетворяли.

Дружила я в школе с одной девочкой. Души в ней не чаяла. Так хотелось иметь сестру, о ком-то заботиться. А она стала гулять еще и с другой подружкой. И вот мы договорились пойти в кино. Иду к ней, а ее мама говорит, что она уже ушла в кино. Как? А я? Бегу по Клочковской, через Лопань к кинотеатру им. Дзержинского. Стою у выхода из кинотеатра, вся трясусь. Сначала я подумала, что перепутала сеансы. Но нет. И вот распахиваются двери. Толпой валит счастливый советский зритель. Выходит моя любимая подруга с той, другой девочкой. Видит меня, и ее лицо становится непроницаемым.

– Ну как же, почему меня не подождала?

– А мы нигде и не были.

– Как? Вы только что вышли из зала.

– Какого зала? Мы просто гуляли здесь.

Вторая девочка, опустив голову, отошла в сторону. Что произошло с моим открытым доверчивым организмом в тот момент! Не знаю. Но произошло на всю жизнь. Реагировать на такое открытое, размашистое... Я отступаю. Я молчу. Немею. Меня нет.

И с Костей выяснять отношения уже было бессмысленно. «Я этого не говорил!» И оба смотрим друг на друга и все понимаем. И я отступаю. Молчу. Немею. Меня нет.

Когда же это началось? На сцене мой голос стал глушить звукорежиссер. Ору что есть мочи. Никакого тембра, тепла. В Израиле, в восемьдесят девятом году, в антракте приходили зрители с просьбой приглушить аккомпанемент. Такого не было ни разу в нашей работе. Я к звукорежиссеру.

– У меня все как всегда. У Константина Тобяшевича все ручки на инструменте отпущены, говорите с ним.

Для чего? Чтобы услышать: «Я этого не делал!!!»

В Израиле он очень хотел произвести впечатление. Сколько невероятных поворотов и ухищрений, о которых даже вспоминать не хочется. За видимым обаянием и приятностью здорово скрывалась большая нравственная распушенность.

Когда же это началось? Может, тогда, когда я его долго ждала у магазина, а он так и пришел без продуктов и не смотрел мне в глаза? Это было летом. А зимой, около того же магазина, мы с Мариком, Леночкой и Тузиком долго играли на морозе. А он опять пришел без продуктов. И тоже не смотрел в глаза? То было время, когда еще не было рыночной экономики и прилавки были пустыми. Вот мне и дали по знакомству адрес того магазина. Может, тогда? Не знаю.

Заканчиваю «СекСказку». Никто меня не встречает. Тяну свои «секс-наряды». Зачем везде тяну свое? Какая сумка тяжелая. Но кто знал, что так скоро все перевернется в жизни. Приближался Новый год. И «операцию» со мной, как я теперь понимаю, его семье надо было закончить к празднику. Тяну сумки и не верю, что это я. Что это так. Что это произошло со мной. Как назло, на съемке сильно вывихнула больную ногу. Еще и хромаю. И слезы душат.

А может, это я такая? Злая. Недобрая. Не даю человеку раскрыться. Наверное, я в чем-то его не поняла, не увидела главных талантов. Это я ненормальный скорпион. Это я сдвинутая. Ну, нет у меня ни сил, ни возбуждения на пуськи-муськи. Я не могу и там и там. Ну вот, скоро все закончится, поедем отдыхать, ну, как было всегда раньше.

«Раньше – целовали сраку генеральше» – единственная вульгарность, которую позволила себе однажды моя дворянская бабушка, Татьяна Ивановна Симонова. Она сидела перед самоваром. В чеховской прическе. С блюдцем в руках. Пила чай с солью. Это было в голод. Она произнесла это слово с «достоинством», как и все, что говорила и делала. Все с достоинством. И вдруг такое слово! «Ого! Даже мой папа такого слова не говорил!» Я точно помню, что об этом тогда подумала. И запомнила это ее выражение и теперь часто его повторяю.

Когда же это началось? В Америке летом девяносто первого года он все забегал в магазины детских игрушек. Но это игрушки для совсем маленьких. А Марик и Леночка тогда уже вышли из младшего возраста. Значит, это уже тогда продолжалось...

Приплелась домой. Пусто. Мама молчит. Потом: «Звонил Костя. Очень страдает, но просил отдать какой-то инструмент. Наверху, в моем шкафу, но я боюсь по лестнице...» Мы эти инструменты последние годы меняли, продавали, покупали. А в голове ни одной спасительной мысли. Конечно, я сама загнала себя в тупик. Так работать без передыху, когда вздохнешь и бежишь, а выдохнуть некогда. А он ведь как это понимал. Знал, что я патологически боюсь повторения тех долгих лет безработицы. Как люди, знающие, что такое бомбы, боятся войны. И я позвонила. Отошла от своих правил.

Ах, какие интонации прежней нежности и тепла! Конечно, все я сама придумала. Конечно, все дело в моем негибком максималистском характере. Сутки мы провели в молчании. За невнятными объяснениями и более чем странным поведением я угадывала влияние другого ума, у которого он был в плену. Этот ум я хорошо узнала.

«Папа сказал, она позвонит, и ты позвонила».

Ну, если я позвонила, то надо что-то объяснить. Но ничего не происходит – ни туда, ни сюда. Вот попробуйте так. Моя мама ходит по коридору. Она что-то определенно знает. «Положите трубку», – часто слышала я его вежливое обращение к ней. Но я была уверена, что он говорил с родителями.

Его что-то мучило. В таком состоянии не вступают в новую, светлую волну жизни. Влюбленный человек ведет себя иначе. Да я бы это сразу распознала. И конечно, никогда бы не позвонила. «Ах, зачем я сказал родителям...» О чем? Но я молчу. Когда-то он, приехав от родителей, сказал, что у меня совсем другой запах: «Надо заново привыкать». Все это сейчас собиралось воедино. Я начинала трезво понимать, что все давно уже где-то завязано, что это поездки не к родителям. А может, именно у родителей это и происходит. Они на даче. Он в Москве.

«Я сломался, сбился с пути, опустился...»

Жил рядом, признавался в любви до, вот-вот, самого последнего дня. Даже моя мама бросала: «Костя, побойтесь Бога, ведь так же нельзя...» И – «опустился». Когда? Куда?

«Я жил с женщиной с ребенком».

Мое сердце увеличилось в объеме так мощно, что я стала задыхаться, а лицо до боли сжалось, потом растеклось и стало, наверное, перевернутым, потому что на его лице я увидела настоящий ужас, смешанный с глубоким тайным и вдруг вырвавшимся наружу победным превосходством – ну, как мы вас, звезд?!

Резкий звонок телефона. «Папочка, я признался Люсе, что я ей изменял... и... изменил».

Единственное число уже ничего не меняло. Несметная сила легко подняла меня на ноги, впихнула в шубу, вложила мне в руки ключи от машины, провела меня по коридору, где в приоткрытой двери стояла моя мама, спустила меня лифтом вниз и выбросила на улицу. Эх, треть жизни, прощай! В голове только одна мысль – бежать от этой «типичной» семьи! Бежать в свободу! Бежать в никуда! Но – бежать!

На улице шел крупными тяжелыми хлопьями снег.

Такой же снег шел в родном Харькове под Новый год. Впереди папа с баяном, и рядом мы с мамой. Идем на праздник. Идем нести «радость всем людя-ам».

«Ето ж люди, дочурка, они нас з Лёлюю ждуть».

Нет, я не расплачусь. Сейчас нужно, как Скарлетт О'Хара. Нужно сесть в машину, включить свет, первую скорость и – вперед. Костя выскочил из подъезда с сумкой. Вот и вещи собрал, которые принес для недолгих переговоров, молодец. Не забыл, ничего не забыл. Так мне и надо. А это уже не игра. Он бросался на капот. Машина трогается с места. Он что-

то кричит, приставляет руки к груди. Но я его уже не слышу. Мысли, видения, лица – все превратилось в разбитую бомбой грудку кирпичей, которая еще недавно была красивым домом. О, сколько домов у меня на глазах рушилось во время войны. Но эта война разрушает самое важное – веру. Веру в человеческую искренность и верность.

Однажды я где-то прочла и была удивлена. Оказывается, во времена Чингисхана самое страшное наказание было за преступление с формулировкой: «За обман доверившегося тебе».

Почему человек мягкий и вежливый вдруг стал проявлять такую мощную агрессию? Его поведение во многом определял его отец. Однажды был взрыв ярости жуткой. Мы ехали на Птичий рынок купить собаку. В машине были Маша, Марик и Леночка. На повороте нас резко, впритирку обогнал рейсовый автобус-такси. Костя выскочил из машины к водителю. И ему в лицо пшикнул из газового баллончика. Среди белого дня! Это восемьдесят девятый год. Атмосфера жуткого разброда. Люди взнервлённые, спешащие, растерянные, а тут стоит машина поперек дороги, мешает движению. И скандал. Водитель закрывает лицо, размахивает железкой – крики, ругня! А мы в ужасе сидим в машине. По ней бьют ногами. Я опустила голову. Не дай бог узнают – «эти звезды как распоясались»...

Ехали обратно. «Я сейчас был как Давыдыч» (как папа, Тобяш Давидович). Программа уничтожения в поле отца. Тот ее активизировал. И сын ее выполнил.

И если из всего вороха памяти извлекаешь то или иное, наверное, оно и есть главное, суть. На армейской службе, чтобы не водить танки, он провел всех профессоров, притворившись, что плохо видит. И был переведен в военный ансамбль. Рассказывал весело. Но мне не нравится, когда мужчина отлынивает от военной службы. И об этом редко вспоминалось. «Я притворился». «Я выкрутился». Главный лозунг жизни – «выкручусь». Да я в этом не сомневаюсь. Каждое воскресенье не пропускал программу «Служу Советскому Союзу!». И смотрел со слезами в глазах. Что это?

Куда я ехала – не знаю. Заботясь обо мне, он деликатно и вежливо отводил от меня многих. «Ее нет дома». «Она занята». «Она не сможет». «Ну что, мама, тебе, когда ни позволишь, ты все отдыхаешь?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.